



Владимир Шапко

Железный старик и Екатерина

Владимир Макарович Шапко

Железный старик и Екатерина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29807374

SelfPub; 2018

Аннотация

Этот роман о старости. Об оптимизме стариков и об их стремлении как можно дольше задержаться на земле. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Глава первая	6
1	6
2	14
3	19
4	23
5	28
Глава вторая	36
1	36
2	43
3	48
4	54
5	58
Глава третья	63
1	63
2	69
3	76
4	80
5	85
Глава четвёртая	90
1	90
2	95
3	100
4	104

Глава пятая	109
1	109
2	114
3	119
4	125
Глава шестая	132
1	132
2	137
3	143
4	147
5	152
Глава седьмая	158
1	158
2	164
3	170
4	175
5	182
Глава восьмая	190
1	190
2	198
3	205
4	213
5	218
Глава девятая	228
1	228
2	237

3	248
4	253
Глава десятая	260
1	260
2	268
3	276
4	282
5	285

Глава первая

1

С некоторых пор, приходя с улицы, он перестал запира́ться на засов. Закрывал дверь только на один английский. При этом не сдвигая вниз собачку. Если случится внезапно дать дуба – дэзовскому слесарю легче будет подобрать к замку ключ, чем выламывать железную дверь фомкой. Или того хуже – резать автогеном. Или (совсем уж крайний случай) – обдалбливать железную обвязку двери перфоратором. На глазах у испуганных соседей. Кошмар!

Ночами, перед тем как заснуть, часто не мог вспомнить – правильно ли закрылся. Он вставал, открывал первую, деревянную, дверь, и убедившись, что мощный засов отодвинут от паза, – возвращался в постель. Теперь уж дверь точно без особого труда вскроют. Когда услышат на лестничной площадке непонятный запах. А потом и вонь.

В тот год его особенно стала поражать тупость снегоуборочных служб. Вместо того, чтобы просто замести выпавший снег за собой крутящимися щётками – они стали резать тротуары грейдерами, доводя снег на них до лоснящегося блеска, на котором пешеходы только подлетали и падали.

Свежий притоптанный на гололёде снег – тоже срезали.

Упорно возвращали гололёд, назад, людям. Да ещё украшали его пропаханными бороздами и ровными ледяными квадратами.

На таких тротуарах стал бояться сломать ногу. Или вовсе – шейку бедра. Несколько раз пытался заказать по интернету ледоступы. Но везде продавали только партиями. В пятьдесят, в сто пар. Тогда он купил длинные, хорошо закалённые шурупы с большими шляпками. Сквозь каблук зимних ботинок вывернул наружу. По семь шурупов на каждом каблуке. Теперь он пробивал любой лёд. В шипах ходил на манер скалолаза на отдыхе. Его стали выносить из магазинов. Под руки и под ноги. Особенно из тех, в которых пол очень гладкий. Полированный. Но он не унывал. Старался смешиваться с покупателями. И тогда даже успевал купить кое-что. Пока его опять не вынесут.

К себе на третий этаж поднимался неуклюже. Вроде рыцаря в доспехах. Клацал на весь подъезд. Однако соседи больше не удивлялись, только липли к стенам. Линолеум в прихожей у него стал походить на решето. Зато он стопроцентно был защищён теперь на улице. Уже автоматом закрывался на один английский. Железный толстый засов исключив полностью. Помимо гололёда, он защищался от перфоратора.

Не уберётся летом. Но от другого. Сильно обварил руку. Пришлось идти в поликлинику. Через неделю его остановила на улице какая-то женщина:

– Здравствуйте, Сергей Петрович. Как ваша рука?

Он безропотно протянул руку. Будто ободранную куницу. Он не сразу узнал эту женщину. Без её белого халата и колпака. Медсестра. Из поликлиники. Был в процедурной один раз, а почему-то запомнила по имени-отчеству.

Склонив голову, женщина разглядывала ожог. Кожа руки чувствовала чужое дыхание. Завитки волос на сутулом загрбке женщины роднились с ковылём.

– Ну что ж, струп образовался неплохой, – отпустила, наконец, руку. – Только рановато вы сняли повязку, Сергей Петрович. Жара, пыль. Нужно было ещё разок прийти к нам. Я бы наложила мази, ещё раз перевязала.

Он пробормотал что-то. Напряжённо постоял под взглядом женщины. Ожидающей словно ещё чего-то от него.

– До свидания, Сергей Петрович, – сказала, наконец. – Поправляйтесь.

Пошла. Широкое плотное тело задвигалось под скользким шифоном. Вроде какой-то беспокойной маслобойни. Не могло найти под ним места.

Он тоже пошёл. Ничего не видел вокруг. Ослеп. Точно блудливо насмотрелся недозволенного. Электросварки, к примеру. Вот ещё старый козёл!

Через месяц, поздоровавшись и опять назвав его по имени-отчеству, она подседа к нему на пустой автобусной остановке. Он собрался на дачу. Был в камуфляжных штанах, с рюкзаком на коленях.

– Вы меня не помните? – спросили его очень вежливо. Так

спрашивают коматозного больного в психиатричке.

Он уже злился. Косился на дерево рядом. Отмечая на нём тремор листьев в некоторых местах. Явный паркинсон. Сказал, что помнит. Спасибо за перевязку. И вообще – за внимание.

– Нет, нет, Сергей Петрович, ещё раньше? До вашего ожога? До поликлиники? Не помните?

Он посмотрел внимательней на женщину. Лет пятидесяти она. Скуластое лицо с широко поставленными глазами. Причёска поднята вверх, в виде ананаса. На открывшейся шее всё те же завитки волос.

– Нет, извините, не припомню. Мне вообще-то восьмой десяток. Мог забыть.

Женщина разглядывала его, улыбалась.

– Я знала вашего сына. Алёшу. Ещё до его Афганистана. Бывала в вашем доме. Тогда жива была ещё Надежда Семёновна.

Старик не вспоминал. Мягко дала ему наводку:

– Я была подругой Лены Майоровой. Невесты вашего сына...

Старик испуганно раскинул склероз:

– Лиза, кажется?.. Нет, Катя. Екатерина!

– Да. Катя Городскова. – Она мягко тронула руку больного: – Вот видите, вспомнили.

В день рождения, в августе, она вдруг пришла к нему до-

мой. Со своим внуком. Кудрявым мальчиком лет девяти. По имени Роман. Можно просто – Рома.

Растерянно он встречал незваных гостей. В прихожей сгибался, подавал им тапочки, лихорадочно соображая: – как, от кого они узнали точный день его рождения – 10-е августа. Потом догадался – в регистратуре.

Они сразу вручили ему подарок – мобильный телефон и провод с зарядным устройством. Зарядку. «Я забил в мобильник и свой, и бабушкин номер, – важно сказал Рома. – Будете теперь звонить нам в любое время». А зачем, хотелось спросить. Но – ладно.

Перед их приходом он сидел на кухне с чекушкой и немудрёной закуской. Сильно смутился. Точно пойманный на нехорошем. А она уже доставала из сумки продукты и железные судки с приготовленной ею едой. Появилась и бутылка вина с пристяжной бутылочкой фанты. Засучила рукава и принялась хлопотать.

В комнате, косясь на приплывающие тарелки, он учился у Ромы пользоваться *мобилой*. Маленький пальчонок учителя запросто играл с цифрами. Ну, теперь понятно? – спросил полноватый мальчишка с широко расставленными, как у бабушки, серьёзными глазами. Он сказал, что понятно. Тоже медленно потыкал в циферки и значочки.

За столом, после того как бабушка и внук чокнулись с ним, именинником, и отпили из бокалов (бабушка вина, внук фанты), ему доложили, что Рома приехал к бабушке на

летние каникулы, что живёт он в Москве и что папа Ромы (сын Екатерины) в Москве работает в министерстве. Очень нужным референтом. Правда, министерство названо не было.

Увидев шахматную доску на серванте, Рома предложил Сергею Петровичу сыграть партию. И пока мальчишка и старик думали и переставляли фигуры, женщина, допивая чай, смогла спокойно осмотреться.

Мебель в комнате стояла прежней. Только за тридцать лет сильно постарела. Обеденный громоздкий стол из цельного дерева выцвел и покрылся разводами, как будто впитал в себя много разлитого кофе. Монолитно плесневели, казалось, всё те же тома в книжном шкафу. Телевизор, как покойник, был прикрыт облезлой бархатной тряпкой. Будто сажёй измазанные мягкие стулья. Сервант с просохшим темным стеклянным нутром. Всё тот же засаленный диван, к которому пристроились сейчас шахматисты. Никак не умирающие на стене, кряхтящие и восстающие каждый раз неожиданно, часы с боем. (Ударили половину девятого.) Даже доисторический абажур по-прежнему пыльно освещал всё это убожество вокруг.

Что и появилось нового, так это прожелтевшая уже, видимо, бэушная башка компьютера с блеклым экраном, на котором размыто проступила страница Яндекса со строчкой «Новых писем нет».

Ещё не видела Екатерина никогда фотографии, которая

висела сейчас прямо над шахматистами. С молодым Алёшкой и Сергеем Петровичем. Они стояли как два дембеля, пустив руки по плечам друг другу. С одинаковыми весомыми носами. Типа каменных топоров. Только Надежды Семёновны почему-то с ними рядом не было.

Партию старик с позором проиграл. «Мат!» – сказал Рома. Встал и потрянул растерянную руку.

Ещё пили чай. После девяти гости наконец ушли. Однако вскоре начал ползать по столу подаренный мобильник. Зудеть жуком навозным. Как учили, Дмитриев смело открыл верхнюю крышку, приложил к уху и твёрдо сказал: да! Оказалось, что бабушка и внук благополучно прибыли домой. Отлично, сказал он, спокойной ночи!

Долго не мог уснуть. Всё вспоминал гостей. Одной породы бабушку и внука. Их одинаковые, широко расставленные спокойные глаза, их одинаковые широкие скулы.

И начались странные эти визиты. До самого отъезда мальчишки в Москву, они являлись к нему почти каждый день. И всегда ближе к вечеру. Рома сразу, как у себя дома, доставал с серванта шахматную доску, садился на диван, расставлял фигуры. И смотрел на него, старика: мол, ну, что же ты, давай, садись. Отыгрывайся. И он безропотно садился и отыгрывался. Тем временем на его кухне всю хозяйничала Екатерина.

Потом втроем ужинали. Или просто пили чай. Разгова-

ривали. Девятилетний Рома рассуждал вполне здраво. По-взрослому.

Они уходили. И вскоре начинал ползать и раздуваться мобильный телефон. Это означало, что они уже дома. Он говорил им «спокойной ночи».

Каждый раз он ломал голову: почему они приходят? Кто он им? Чужой семидесятитрёхлетний старик. Что им нужно вообще от него? Мальчишка – ладно: шахматист, но что нужно Екатерине? Загадка.

Почти совсем не говорили о прошлом, о без вести пропавшем сыне в Афганистане в 80м году, об умершей через год после этого жене, Надежде Семёновне. Всё какие-то пустые разговоры. Или, на худой конец, шахматы с мальчишкой.

Грешным делом, он заподозрил её в корысти. Но оказалось, что у неё самой такая же двухкомнатная квартира. Тогда вообще для чего всё это? Неужели похотливого козла какого-нибудь разглядела в нём, в старике? Но тоже не похоже. Хотя далеко не старая ещё. Как говорится, сорок пять ягодка опять. Только крупноватая, пожалуй, ягодка, Тяжёлая. Если, к примеру, попытаться на руки поднять.

2

Первый раз она увидела его в прошлом году летом. Сразу после переезда из Сургута. Увидела на Красина. И – как толкнули в грудь: навстречу шёл сильно постаревший Алёша Дмитриев. Старик Алёша Дмитриев. Молодым пропавший тридцать лет назад. Сейчас в пенсионерской сизой кепке, в клетчатой рубашке.

Она не смогла остановиться. И он прошёл мимо.

В купленной пустой квартире она сидела среди узлов и чемоданов, никак не могла прийти в себя. Встреча с Дмитриевым, отцом Алексея, всколыхнула давнее, как оказалось, незабытое.

Зимой он пришёл в поликлинику. Сидел в очереди к терапевту. В мятом костюме, как нищий удерживал в руках старую облезлую шапку. (Даже такую бросовую в раздевалке не взяли.)

В регистратуре она посмотрела его карточку. Тетрадка оказалась тоненькой. Фамилия, имя-отчество, год рождения. Два-три ОРЗ, одно посещение окулиста. И – всё. Старик был практически здоров.

Летом пришёл с сильным ожогом. Как сам рассказал врачу, с электроплиты при помешивании пельменей съехала на другую руку эмалированная кастрюля с кипящим бульоном. Он успел только подпрыгнуть. При обработке раны – не пик-

нул. Железный старик. Она работала щадяще, но быстро. «Через два дня приходите снова на перевязку». Не пришёл. Но вскоре увидела его на улице. В жару. С открытой коркой на запястье.

На этот раз остановила без всяких. Осмотрела струп. Заживает как на собаке. «И всё же, Сергей Петрович, нужно прийти к нам ещё раз. Струп открыт, может попасть грязь. Я бы наложила ещё раз повязку». Будто бы не услышал. Нахмуренный, пошёл дальше.

Наконец однажды решилась. Подсела к нему на остановке. Собравшемуся, видимо, на дачу. Не обращала внимания на недовольное, даже злое лицо. И всё-таки разговорила...

Больно было смотреть потом, как растревоженный старик полез в переполненный автобус, как прищемило его рюкзак дверями, и он дёргал его за собой. Потом смирился, так и уехал с зажатым дверцами рюкзаком.

В июле приехала сноха Ирина. Привезла Ромку. Стало не до старика. Только в августе опять вспомнила о нём. О его дне рождения.

В прихожей старик был судорожен, дик. Подавая тапочки, опрокинул всю обувную полку. Извинялся. Наклонённая лысина его побагровела, налилась кровью. В кухне будто прятал любовницу, загораживая путь. С большой сумкой она всё же прошла – и раскрылся тогда на кухонном столе жалкий одинокий праздник старика. Разорённая закуска на двух тарел-

ках, наполовину отпитый, точно поперхнувшийся стопарь, независимая, как посторонняя всему – чекушка.

Екатерина принялась за дело.

– Как вы поживаете, Сергей Петрович? – спросила она его по-свойски, когда немножко размякла от вина. – Давно на пенсии?

– Семь лет, – сухо ответил старик.

– А почему не продолжаете преподавать?

– Есть молодые преподаватели, более знающие, – так же сухо последовал ответ.

Та-ак. Вопросы больше задавать не следует. Тем более, что он вышел из-за стола и уселся с Ромкой за шахматы. Как отгородился..

Бедняга, смотрела она на него. Потом на несокрушимую его мебель, на включенный экран в углу всё с той же строчкой «Новых писем нет».

В прихожей он опять наклонял перед ними багровую лысину, освобождал от старой обуви дорогу к двери.

– Какой-то он напряжённый и хмурый был, – сказал не по возрасту умный внук, когда уже вышли на улицу. – Как наш папа. Когда тот не хочет говорить. Да и играл плохо. Тоже как папа. Всё время делал зевки. Надо подарить ему в следующий раз книгу с шахматными задачами. Как ты думаешь, ба, это поможет ему?

В конце августа приехала за Ромкой мать, и тот сам позвонил Сергею Петровичу. Попрощался до января. Дал несколь-

ко ценных советов по решению шахматных задач. Заодно назвал сайт в интернете. Нужно забить его в поисковик – и пожалуйста: этюды и задачи для любой шахматной подготовки. Сергей Петрович поблагодарил и пожелал доброго пути.

Когда уже разложили вещи в купе и вышли втроем постоять на перрон, неожиданно увидели его. В пенсионерской своей кепке, камуфляжных штанах и рюкзаком на плече он быстро шёл по перрону. Тянул голову, высматривал. Увидев, решительно направился к ним.

– Успел, – сказал одно слово. И повернул голову к станционным часам. Ни здравствуйте, ни до свидания.

Отвел Ромку в сторону, будто пришёл к нему одному. Достал из рюкзака и вручил мальчишке подарок. Большую раритетную книгу о великих шахматистах. Из своей библиотеки. «Тебе будет полезно, Рома», – сказал он, диковато глядя поверх мальчишки, точно оберегал его от опасностей. Он всё время поглядывал на станционные часы. Разговаривая, умудрялся фиксировать дрыганья минутной стрелки.

Машинально пожал руку какой-то молодой женщине с причёской в виде висящей столярной стружки. Оказалось, невестке Екатерины, матери Ромы. И тут же забыл, как её зовут. Однако та продолжала смотреть на него почему-то испуганно. И одновременно радостно. Точно не верила, что это он – Сергей Петрович Дмитриев, знаменитый артист. Надо же как изменился! Поворачивалась удивленно к свекрови.

Объявили отправление. Старик дёрнулся, словно не пове-

рил. Потом, как равному, пожал Роме руку, и тот с раритетным томом полез в вагон. Полезла за ним и мать со столярной своей причёской, всё почему-то оглядывалась на Сергея Петровича. Словно хотела запомнить на всю жизнь.

Он шёл и порывисто махал изгибающемуся составу. Однако лицо его было бесстрастно. Екатерина тоже шла и удивлялась резкой несочетаемости железного лица старика с его же порывисто машущей рукой. Как будто рука была чужая, пришитая к старику.

С вокзала они ехали одним автобусом. Сидели на одном сидении. На ухабах его плечо толкало её. Когда подъехали к её остановке, она пригласила его в гости. Посмотреть квартиру, как она живёт, попить чаю. А, Сергей Петрович?

– В другой раз, Екатерина Ивановна, – не глядя на неё, сказал он. Рюкзак удерживал растопыренными пальцами. Всеми десятью. Будто ревматическими клешнями.

Она попрощалась, сошла. Он с клешнями и рюкзаком покати́л дальше.

К семидесяти своим он окончательно превратился в желчного циника, в мизантропа, не верящего никому.

Проходя мимо оптимистичного истукана на площади и видя пары женихов и невест, ритуально выкладывающих цветы, он саркастически усмехался. Его поражало, как люди могут перевернуть всё с ног на голову. Черное назвать белым, белое чёрным. Теперь любая девка, надев пышное подвенечное платье и фату, разом превращается в девственницу, в самую непорочность и чистоту. Любой трепач в тараканьем костюмчике, поставленный рядом с ней – это уже жених, благородный рыцарь, готовый ждать первой брачной ночи вечно. И вот склоняются, кладут цветы. Тучный белый фантом и чёрненький тараканчик. И все – родители и сопровождающие – умилены, растроганы. Вытирают слёзы.

Не-ет, он видел этих лженевест и женихов насквозь. Он зрил в корень. Его теперь не проведешь. Шалишь! От перфоратора он защищён был и цинизмом. Ха! Ха! Ха!

Но иногда он мог ещё вспомнить, каким был всего лишь пять-шесть лет назад. Пока окончательно не выдавили из техникума. По утрам он просыпался ровно в шесть. Просыпался разом. После туалета как с гвоздя, в комнате сразу начинал зарядку. Делал махи прямыми ногами, стремясь достать носками ладони.

Пятнадцать минут седьмого его видели в парке. Бегущим в трениках. Прямые тощие ноги несли старика как ветки.

В ванной слеп под ржавой лейкой с колющими струями.

Завтракал. Старый холодильник «Минск» колотился рядом. Поражала его живучесть.

Собирался на дачу.

С рюкзаком ровно в полвосьмого был на остановке. Через минуту – как слизывался с остановки, исчезал.

Но это всё осталось в жизни другой, не его. Теперь он был больше циник. Ипохондрик, прислушивающийся к себе. Теперь он уже не делал жимы и махи, не бегал в парке. Всё с тем же рюкзаком он обречённо сидел на остановке. Автобус до дач теперь подходил всегда переполненным, не имел уже никаких расписаний. Как астматик дрожал, не мог отдышаться. С лязгом раскрывал дверцы. И он лез в его полнёхонькое душное нутро.

В этом году даче исполнилось пятьдесят. Она помнила ещё маленького Алёшку, который ходил-переваливался меж помидорных кустов, трогал плоды и поворачивал голову к родителям, видимо, поражаясь, что плодов так много, и они все красные.

Дома тогда на участке ещё не было. Надежда готовила на таганке, отворачивая лицо от струйного жара. Сам он с соседом долго копал общий колодец для двух участков. Из глубокой сырой тёмной утробы он дёргал верёвку, и бак с землей

уплывал наверх. Иногда на краю колодца возникали устремлённые в небо ноги жены, она показывала Алёшке «нашего папу» («Где он там спрятался? Ну-ка, посмотри!») Наш папа тарачился снизу как белкастый шахтёр. Сверлил сыну козу. Сын молчал, видимо, не узнавал отца. Улетал с материнскими руками в небо.

Шли на реку, на спокойную плавную протоку Оки. Вдоль берега Надя плыла по-бабьи – грудью накатывая вперед крутую волну и попеременными ногами выбивая высокие фонтаны. Голенький Алёшка в панамке ходил по песочку у воды, приседал и изучал сырые голыши. Любознательный, – умилялся отец, стоя на наклонённой берёзе. Как с вышки, ласточкой летел в воду. Мощным медленным кролем плыл на середину. Переворачивался на спину, раскидывал руки. Распятым крестом долго плыл куда-то вместе с высокими облаками.

Ночевали во времянке. Фанерная коробка поскрипывала. Сосед Колобродов ходил вдоль штакетника, любознательно слушал. По всему видать, Дмитриев крепко любил свою жену.

Из учительской в техникуме они шли в разные аудитории – она преподавать русский язык и литературу, он – электрометаллургию.

После дневных занятий, вечерникам он читал курс с уставшим сухим щегольством. Сложные технические термины произносились им сухо, чётко, без запинок. Так чита-

ют лекции, по меньшей мере, маститые академики. Работяги-вечерники забывали, что он такой же парень, как и они, только чуть старше, слушали его курс с раскрытыми ртами. Впрочем, не все. Две-три девицы, по-видимому, случайно залетевшие на курс, висели на кулаках – им было скучно.

Поздним вечером он шёл на окраину, к далёкому домику на Заречной, где его ждали жена с тётшей, где в кровати спал, плавил губками бантики его сын.

Он мыл руки и садился к столу под тёплый свет абажура, к оставленной ему прикрытой полотенцем еде.

Жена правила потом вопиющую безграмотность будущих металлургов в их тетрадках. Он конспективно записывал лекции к следующему дню.

Склонённого над бумагами, она обнимала его сзади, со спины. Прижималась к нему. Он чувствовал чистый запах её волос. Он был счастлив. Ему было двадцать четыре года.

Пока Екатерина приходила к Дмитриеву с Ромкой, это выглядело безобидно и даже естественно: вот, пришла с пионером, проведать, узнать, что и как, помочь. Тимуровец играл со стариком в шахматы, развлекал, сама готовила что-нибудь на кухне, прибиралась там же.

Потом в комнате сидели за столом, ели или просто пили чай. Старались отвлечь пенсионера от дум его стариковских тяжких на два голоса.

Однако Ромка вскоре укатил в Москву, прятаться стало не за кого, и приходиться одной к Сергею Петровичу стало как-то не совсем удобно. И даже странно. Для соседей хотя бы по подъезду. Которые, спускаясь по лестнице, всегда смотрели на неё (даже с мальчишкой) во все глаза. Как на пучеглазую инопланетянку, по меньшей мере. Прилетевшую к Дмитриеву с довеском. Не иначе как за квартирой. Точно!

Теперь только изредка звонила. Раз, ну два раза в месяц. И хотя, поздоровавшись, сразу называла себя – в мобильнике каждый раз слышался удивлённый, сопровождающийся каким-то грохотом, поднимающийся голос. Словно из-за школьной парты: Да! Дескать, – не сплю! Старик или притворялся, или в самом деле не узнавал её.

Она спрашивала про здоровье.

– Я здоров, – сухо звучало в ответ.

Она предлагала помочь в чём-нибудь: сходить, купить продуктов. Приготовить. Помочь с уборкой. А, Сергей Петрович?

Школяр словно зависал на какое-то время в трубке.

– Это лишнее. Я сам.

Не получалось никакого разговора с ним. Ни лёгкого, ни серьёзного. Ни разу не спросил даже о Ромке. Как будто и не дарил ему книгу.

Отключался первым. Без всяких. После таких разговоров хотелось послать его к чёрту.

Медсестра Городскова Екатерина Ивановна с досадой захлопывала мобильник. Мыла над раковиной руки. Уже подкрадывалась большая старушечья попа по фамилии Пивоварова. Со спущенными штанишками. Втыкала в неё иглу. Как в дрожжевое тесто. «Легче, доча, легче», – вздергивалась старуха. Пришлёпывала ей вату со спиртом: «Держите!» – «Держу, милая, держу», – застывала Пивоварова в присогнутой позе, удерживая вату. Железный старик бы не дрогнул. Не-ет. Екатерина Ивановна помогала старухе одеваться.

Впрочем, один раз он позвонил сам. Невероятное дело! Голосом вроде бы потеплевшим сказал, что ему звонил Рома. Из Москвы. И они, как он выразился, побеседовали. Говорили о шахматах. Да. Она попыталась закрепить успех, опять стала предлагать помощь. По дому. Он тут же отключился. Чёрт бы его побрал!

На другой день она увидела старика в парке. Бегущим

трусой по аллее. В шапочке, в тёплых спортивных штанах, в свитере с оленями (было начало декабря). Не прекращая трусцу, он оббежал её три раза и попросил точный Ромкин адрес. И дальше побежал, пухая за собой морозцем. На ходу крикнув: «Позвоните!» Она пошла дальше, оборачиваясь, спотыкаясь. А шапочка с большим помпоном уже моталась за оградой парка.

Вечером пришла к нему домой.

Он встретил её вполне доброжелательно. Принимая пальто и шапку, скосил даже улыбку. Вроде insultника – на бок.

Прошли в комнату. Сели за стол. Он заговорил как всегда чётко:

– В этом месяце у Ромы день рождения. Десять лет. Я хочу поздравить его телеграммой. И сразу послать бандероль. Сюрприз. Нужен точный адрес его.

И застыл с приготовленной бумагой и ручкой.

В груди у бабушки потеплело. Чуть ли не по слогам, начала диктовать московский адрес внука.

– Как фамилия Ромы? – спросил он хмуро. Как в отделе кадров.

Она назвала.

Он вскинул брови:

– Но позвольте! Это же ваша фамилия. Девичья. И он Городсков, что ли? Кто же его отец?

– Его отец – мой сын. Валерий Алексеевич Городсков.

По напряжённым глазам старика было видно, что он ни-

чего не понимал. Его словно обманывали.

Екатерина Ивановна мягко разъяснила:

– ...Когда я родила его в 81-ом году – записала на свою фамилию. Понимаете теперь, Сергей Петрович?

Он смотрел на неё с испуганным удивлением. Не веря. Она была матерью-одиночкой. Родившей без мужа. Её фамилия перешла не только к сыну, но и к внуку. Тогда так и напишем под адресом: *Городскову Роме*.

И хотя потом пили чай, напряжённые глаза старика всё переваривали услышанное.

Она хотела позвонить Ромке, обрадовать, сказать, что скоро он получит бандероль. Подарок. Но удержалась. Пусть это будет действительно сюрпризом. Подкрадывающейся старушечьей попе (Пивоваровой) поставила укол лихо – хлопнув по ней ладошкой и тут же воткнув иглу. Старуха даже не успела ойкнуть. Застыв, удерживала вату. «Спасибо, доча, сегодня было совсем не больно». Городскова улыбалась. Быстро работала на белом столе с ампулами и одноразовыми шприцами разных размеров. От крохотных до лошадиных.

В уходящем году решила позвонить Дмитриеву ещё раз. Вечером 31-го. Поздравить с наступающим. Однако в трубке опять захлопалась крышкой школьная парта, прежде чем вскочил хриплый голос: да! Дескать, всё так же не сплю!

После поздравлений и пожеланий здоровья, сообщила, что Рома и телеграмму, и бандероль с новой книгой получил.

– Я знаю. Он мне звонил. Спасибо за поздравление. Вас

тоже с праздником. Рому жду в январе. В гости. До свидания.

И Дмитриев, как всегда, отключил мобильник первым.

Но сразу опухло: только мальчишку пригласил. Как будто бабушки нет у него... Чёрт!

Положил мобильник на кухонный стол. Непонимающе смотрел на ядовито-бурый винегрет, на цельную снулую сельдьку на доске, На запотелый, зачем-то раньше времени вынутый из холодильника чекмарь. Зачем всё это?

Присел на табуретку.

Всегда летом почему-то подкрадывалась ипохондрия. Он чувствовал её приходы. Напрягался.

С тревогой слушал пульс, работу сердца. Странные явления в районе желудка. Повыше, в подвздошной части. Бега-нья каких-то змеек по голове.

Он решительно вставал и начинал делать махи. Ногами. К вытянутым рукам. Или бегал в парке. Тощий. Оскаливая пасть.

Мимо цветников из старух пробегал иноходью. С высоко подкидываемыми коленями. Привет старым пердуням!

Дома давал себе контрастный душ. Вытираясь, вновь чувствовал силу. Он знал твёрдо: старость – это борьба. Борьба с собой. А не бездельное выгуливание себя по улице. С за-ложенными назад руками. И уж тем более не высиживания яиц на скамейках.

Дзот банкомата он накрывал собой полностью. Глухо. Ни-каким матросовым шанса не давал. Он щёлкал клавиши быстро, уверенно. Выдёргивал тонкую пачку и уходил. Ста-рость – не бла-бла на скамейках. В обнимку с костыликом. С подобными тебе. Старость – это борьба. За достойную жизнь. В своём конце. В конце-то концов!

В почтовом отделении он платил коммунальные. Выкла-дывал на стойку перед девицей в окне ровно десять платё-

жек. И сразу приготовленные точные деньги в рублях и копейках. Девушка забирала платёжки и вносила данные в компьютер. Лихо отрывала квитки. Начиная тыкать калькулятор. Называла сумму. Тоже в рублях и копейках. С ухмылкой он просил пересчитать. Ещё со школы он складывал и вычитал любые цифры мгновенно. Он был гордостью школы. Его можно было показывать в цирке. Девушка этого не знала. Зло начинала опять стучать по кнопкам. Грушковые щёчки её потрясывались. И опять он говорил, что неверно. Девушка снова перебирала десять квитков и тыкала. В школе она была двоечницей. Он всегда оказывался прав – цифры в калькуляторе наконец-то совпадали с приготовленными деньгами на стойке. В рублях и копейках, чёрт побери! Он двигал деньги и выхватывал квитки. Добросовестнейшая очередь пенсов даже не возмущалась задержкой. Не могла закрыть свой единый рот: вот зану-уда! Победно он уходил из отделения почты. Он никогда никому ни за что не бывал должен. Он всегда платил по счетам. Но по точным счетам. Ему нет дела – тупая девушка или хитрюга. Он не маразмат с палочкой, приковылявший на почту. С ним не пройдёт!

Не утратив запал, шёл в ТСЖ. В товарищество собственников жилья. Теперь должны были ему. Шёл ругаться.

Месяц назад он заплатил им в кассу деньги на замену стояка для горячей воды. У себя. В большой комнате. Стояк был уже весь в хомутах и каких-то замазках. Не менялся с 80х годов. «Вы что, хотите, чтобы в отопительный сезон я залил

весь подъезд?» – выговаривал он сердитым тоном управляющему.

Чернявенький мужчина с грибницей на голове не дал сбить себя с толку, выбежал из-за стола: «А вы заплатили за ТСЖ? – предъявил свой счёт. Ехидный. Придвинувшись прямо к лицу: – За уборку территории? Дворникам, бесплатным слесарям (оксюморон)?» «Да вот же, вот! – показывал квитанции Дмитриев. – Заплачено за полгода вперёд. Вы меня хотя бы раз видели в списках неплательщиков? Вы же не работаете. Вам же никто не платит. Долги вывешиваете с десятками квартир».

Старикан, видно было всем, давно превратился в желчь ходячую.

– Ладно, пришлём, – нахмурился чернявый. – Завтра. Сегодня все на объектах. Мария, запиши.

Ни черта не пришлёт! Дмитриев вышел на крыльцо. Платком вытирал лицо. Смотрел на раскинувшийся грязный двор с давно пустыми детскими песочницами, с пеньками от оторванных скамеек, с гнилой пустой беседкой для старух.

Шёл и с удивлением оборачивался на искривлённые детские качели. Которые местный Васька Буслаев хотел, видимо, завязать узлом. Но не смог. Был поддат. Поэтому только смял, сдвинул штанги. Очень близко. Одну к другой. И бросил. Пусть так повисят, заразы.

У Дмитриева во дворе было то же самое: коробка песочницы без песка, в которую, казалось, никогда не ступала

ножка маленького человечка, те же пеньки от скамеек, гнилая, с давно осыпавшейся краской корзина под старух. Хотелось вернуться и спросить у чернявого: и где же твоё благоустройство дворов? Работа твоих дворников? Жулик!

Дома смотрел на стояк в комнате. Если брать по Маяковскому, стояк в хомутах уже походил на флейту водопроводных труб. Придётся частного нанимать.

Мрачно хлебал щи. Здесь же, в комнате. В телевизоре что-то мелькало. Пригляделся.

Спортивная передача. Волейбольный матч. Мяч летал через сетку. Парни, взлетая, с маху били. После удачи сразу объединялись в бабье истеричное содружество. Не забывали похлопаться. Все акселераты. Высокие и ровные как доски. Снова расставлялись по номерам. Тоже когда-то играл. Только не было в то время таких длинных и ровных, не объединялись, чтобы похлопаться, да и на подачах не взлетали, как взлетают у сетки.

Дмитриев взял пульт, переключил канал.

В фильме развязный парень что-то вещал. Стоял в профиль. Повернулся. С золотым наглым зубом. На майке было начертано:

СЕКС-ИНСТРУКТОР

Первый сеанс бесплатно

Да полудурок ты этакий! Дмитриев вырубил телевизор.

Накинул тряпку.

Помыв посуду, стал работать с архивом. С лекциями, в своё время записанными им в толстые тетради. Просматривал, вносил дополнения, правил. Потом в компьютере открывал файлы и переносил готовое в них. Был деловит. Работы хватит на год. А то и два. Без всяких стояков и ипохондрий!

Нажал на кнопку интернета, чтобы посмотреть, сколько градусов за бортом. Жарковато что-то. Старый, списанный в техникуме компьютер кряхтел, крутил где-то внутри себя шарманку, никак не открывал Яндекс. Открыл, наконец. Ага, сегодня 25. Вот и духота в комнате. Вдруг увидел в почте 1 новое письмо. Поспешно кликнул. На абсолютно пустом поле для входящих – вверху строчка: «Поздравляем!» Открыл письмо. «Уважаемый Дмитриев! Команда Яндекса поздравляет Вас с Днем рождения!» И дальше шли предложения всяких инноваций от Яндекса.

Старик тупо смотрел на обращение «Уважаемый Дмитриев!» Надо бы: Уважаемый *гражданин* Дмитриев!» Теплее бы было. Гораздо.

Удалил письмо. Вернулся на домашнюю.

Долго смотрел на вновь возникшую надпись «Новых писем нет».

Старик был один. Давно один. Во всей вселенной интернета никому до него не было дела.

Года три назад столкнулся в городе с завхозом технику-

ма. Даже не сразу узнал. Не мог вспомнить его фамилию. «Финеев я! Финеев! Сергей Петрович!» – чему-то радовался подвижный мужчина с глазами хитрована. «А-а», – протянул старик. Хотел спросить «как жизнь?», но передумал. Стоял, воротил лицо с намерением идти дальше. Своей дорогой. Встречать в городе бывших сослуживцев было всегда неприятно. Как будто из техникума был не просто уволен, а с позором выгнан. После какого-нибудь проступка. Попадание, скажем, в вытрезвитель. После чего дальше преподавать в техникуме было просто невозможно. Однако Финеев всё чему-то радовался, тараторил как раз про техникум. Кого – куда – вместо кого – и зачем. Неожиданно спросил:

– У вас есть компьютер, Сергей Петрович?

Дмитриев сказал, что нет. Хотел добавить, что не по карману компьютеры теперешним пенсионерам, но опять передумал.

– А хотите мы вам подарим компьютер? Сергей Петрович?

Дмитриев нахмурился.

– Кто это мы?

– Мы – администрация техникума. Да я, в конце концов, я! Мы списали четыре компьютера. Я вам подберу самый лучший. А?» И видя, что старик колеблется, тут же ударил убойной фразой для всех пенсионеров: – «Совершенно бесплатно!»

Дмитриев представив, что нужно идти за компьютером в

техникум и видеть опять все эти... лица, начал отказываться.

Финеев мгновенно понял, что старик просто не хочет идти на прежнюю работу – предложил привезти компьютер домой. «Прямо к вам, Сергей Петрович?»

И привёз-таки. На другой же день, увешенный проводами и всякими причиндалами, он в обхват вносил в квартиру большую башку с мутным экраном.

Сам установил, настроил. Показал элементарное.

Потом пили чай. Завхоз был как дома. Дмитриев пылал словно огонь. Такая встряска! Компьютер, упавший с неба. Мало знакомый человек вместе с компьютером. Его вопросы. Всё норовил влезть в душу. Как вы теперь, Сергей Петрович? Не скучаете ли по работе? А вам какое дело? – хотелось огрызнуться.

Завхоза звали Валентином Ивановичем. Можно просто Валентин, сказал он при прощании, пожимая руку. «Звоните в любое время, Сергей Петрович. Всегда отвечу на ваши вопросы. А если комп заглохнет – приеду, помогу».

Правда, до этого не дошло. Ни до вопросов, ни до приездов самого Валентина. Аналитичный, упорный Дмитриев освоил компьютер сам. И довольно быстро.

Ещё в то время сдуру зарегистрировался в Одноклассниках. И повалила сразу на почту такая чушь, такие отстойные, как сейчас говорят, фотографии стариков и старух (лжеодноклассников), такие их открытки с виньетками и кошечками в бантиках, что через неделю не выдержал и пост свой

удалил.

С тех пор нередко замирал перед компьютером. Чем-то напоминая сыча на дереве. Который смотрит в ночной космос и видит только одну достоверную надпись из звёзд – *новых писем нет.*

Глава вторая

1

Ромку он называл – только Ромой. Её же – то Катей, то Екатериной, то Екатериной Ивановной. Однако на сухом лице его от этого не менялось ничего. Всё зависело, видимо, от внутреннего состояния старика. Если «Катя» – настроение хорошее. К примеру, во время чаепития. Втроём: «Катя, помните, как ездили за город на пикник? Мы с женой и вся ваша молодая компания? Какое замечательное было время». При этом на тебя смотрят глаза совершенно равнодушные. Глаза снулого судака. Если же он называл её «Екатериной» – тут уже серьёзней. К примеру, оторвавшись от шахмат с Ромкой: «Екатерина! Не нужно ничего передвигать у меня. Ни тумбочку, ни кресло. У меня всё стоит на своих местах». Так. Ладно. Терпимо. Дальше играют. «Екатерина Ивановна! (О! Назвал, наконец!) Ну сколько можно говорить – не убирайте у меня! Не мойте пол! Удивительно даже, честное слово!» Это уже совсем серьёзно. Однако и тут лицо не менялось. Только глаза выдавали себя – угли в чугунной печке. Да и Ромка в поддержку ему укоризненно смотрел. Явно осуждал её за дурную привычку – везде, где только можно, убирать. В полном смущении, чуть не на цыпочках она уходила в ван-

ную, сливала из ведра в унитаз грязную воды.

Смеялся он криво. Нехотя. Будто ему отшибли нутро. И даже таким они видели его раза два всего.

В телевизоре показывали фильм из жизни разночинцев. Солянка из повестей Чехова. Артисты Догилева и Юрий Богатырёв. В тесном доме со шторами на окнах и дверях – вечер-бал. Длинный пёстрый галоп из мужчин и женщин стремительно мчался из одной комнаты в другую вроде курьерского поезда или китайского карнавального разноцветного змея.

Дмитриев, прервав игру с пионером, какое-то время внимательно смотрел. И вдруг начал смеяться:

– Скачут боком и трясут дам как капусту! – Поворачивал отшибленный косоротый свой смех к ней, сидящей за столом. Приглашая и её посмеяться. Она недоумевала – что тут смешного? А он прямо до слёз – машет рукой, вытирает платком глаза. Не слышит даже зловещего предупреждения – «вам шах!» «Да ну же, Сергей Петрович! – теревит его Ромка. Дескать, возьмите себя в руки! Ещё один сухарь растёт. Совсем юный. Учит старого. Стойкости. Вот, успокоились, наконец, обрели себя, приклонились к доске.

– Смотрите, Катя! Смотрите! – вскричал он в другой раз. И опять засмеялся, скосив рот. А в телевизоре просто два кенгуру валтузили друг дружку боксёрскими перчатками. Дети уже над этим не смеются. А он прямо заходится. Не богато оказалось с юмором у старика. Не то что у сына его

Алёшки или жены, Надежды Семёновны. Уж те умели пошутить и понимали толк в хорошей шутке или анекдоте. Даже Ромка смотрел на косо́й смех старика с недоумением. Впрочем, тоже рос не без вывиха. Там, где дети или взрослые смеялись – только улыбался. Принимая смех людей как неизбежность. Маленький взрослый человек. Стоик.

В январе, когда он прикатил на каникулы, на станции опять увидели Дмитриева. Только не на зимнем перроне, а возле самого вокзала. Тепло приобнял пионера, как внука. Похлопал. Да и Ирину вроде бы узнал – пожал ручку в разноцветной варежке. Широким жестом показал на такси. Чудеса!

Городскова, затиснутая между снохой и внуком – не могла взять в толк, откуда он узнал о приезде Ромки. Как-то забыв, что шахматисты давно звонят друг другу и отправляют эсэмэски. Пенсионер показывал на белый морозный город, оборачивался и пояснял, мимо чего они проезжают. Рома солидно кивал. Два единомышленника едут в такси, два друга.

Однако вечером он сидел за столом в её квартире – опять точно отгородившись ото всех. Ото всех, кроме Ромки. Он словно говорил ему: потерпи, мы на чужой территории. Шахмат здесь нет.

Диковато он смотрел на женщину в столярной стружке, опять напрочь забыв, как её зовут. Переводил взгляд на вздрюченный ананас Екатерины Ивановны, удивляясь его высоте. Как я попал сюда? Зачем? Спасительно трогал плечо

малолетнего шахматиста рядом: прорвёмся.

Ромка словно слышал его, кивал. Налегал на жаркое из кролика. Стал он заметно полнее. Однако старик, не обращая внимания на женщин, будто хозяин стола подкладывал и подкладывал ему в тарелку. Бабушка удивлялась: щёки внука двигались, как у хомяка.

– Сергей Петрович, хватит ему! Лопнет!

Ирина тоже подхватывала:

– Нельзя ему столько, Сергей Петрович!

– Ничего, пусть ест, – поощрял старик. Дескать, силы нам ещё понадобятся. В борьбе. (С кем?)

Независимо постукивал пальцами по столу. Поднимал свой бокал, когда тянулись к нему два других бокала, Почти ничего не ел. Просто ждал, когда всё кончится. Иногда поворачивался и с удивлением смотрел на стрельчатые, будто накалившиеся цветы, стоящие в стеклянной вазе на тумбочке. Словно забыл, что принёс их сам.

И сноха, и свекровь перед его приходом подвели глаза и подкрасили губы. Начипурились перед стариком. Завлекают. Да. Точно. Мумия будет перед ними сидеть, а всё равно накрасятся. Ну как же – мужчина. Хххы.

Иногда сноха Городской, перестав есть, начинала как-то откровенно и удивлённо разглядывать его. Необычные зелёные глаза её застывали, становились выпуклыми. Как медалионы. (Чего она хочет, в конце концов!) Забывали о всяком приличии. Так смотрят, встретив знакомого через мно-

го-много лет: он или не он? Да я это, я! – хотелось крикнуть старику.

Екатерина Ивановна старалась отвлечь сноху с замершей вилкой. Начиная расспрашивать о Москве, о Валерии-сыне и особенно об успехах Ромки в школе. (Хотя чего о них, успехах, расспрашивать – круглый отличник. С первого класса.) Ирина недовольно возвращалась к еде. Или поднимала бокал. Чтобы чокнуться с так и не узнанным.

После ухода гостя – в резиновых перчатках по локоть мыла посуду.

– Странный старик, мама. Тебе он никого не напоминает? – повернула лицо к свекрови.

– Нет, – подносила грязную посуду на кухонный стол Екатерина Ивановна.

– А ведь наш Валерий такой же замороженный. – всё ловила глаза свекрови сноха. Стряхнула воду с чистой тарелки и поставила на проволочную сушилку: – В гости даже с ним не пойдёшь,

Екатерина Ивановна нахмурилась. Но не вступилась за сына, зная, что это правда. Даром, что работает вторым референтом министра. «Ну-ка, дай-ка я домою».

Как только поезд с Ириной ушёл, Ромка сразу с вокзала повёл к Дмитриеву. Шахматы. Нельзя терять ни минуты!

– Мне же на работу, Рома! – шла, слабо сопротивлялась Екатерина Ивановна.

– Ничего, ба. Заведёшь – и на работу. Одному мне – неудобно.

Поднялись на третий этаж.

– Вот. Привела вам шахматиста, Сергей Петрович.

– Так давно жду, – удивлённо ответил пенсионер. Из раскрытой двери. И, едва Ромка вошёл, захлопнул перед носом бабушки дверь. Во всегдашней своей манере. Будто крышку своего мобильного. Правда, тут же высунулся: – Я его сам приведу к вам. Вечером. – И захлопнулся. Теперь уже окончательно.

Городскова спускалась по лестнице. Да-а. Каким ты был, таким ты и остался. Орёл степной. Козёл лихой.

Вечером, предварительно позвонив, привёл обязанного шарфом мальчишку. Будто доставил с Северного полюса. Но порог не переступил. Хотя дверь перед ним не захлопнули, напротив – широко распахнули. «В другой раз, Екатерина Ивановна». И строго сказал. – «Жду Рому завтра. До свидания».

Бабушка спросила, как поиграли в шахматы.

– Два-два, – важно сказал Рома, позволяя развязывать шарф. – Растёт старик.

– Ты хоть ел у него чего-нибудь, – снимала с внука пальто бабушка.

– Ел. Два раза. Сергей Петрович неплохой кулинар.

Взяв за плечи, Екатерина Ивановна с улыбкой разглядывала внука, как ещё одного замороженного. Оставшегося по-

ка что в наглухо завязанной шапке. С надутыми щеками.

Замороженный сердился. От такого панибратства. Ну, ба-а, снимай.

С трудом, не сразу развязала ремешки под подбородком внука. Затянутыми крепким узлом. Орёл степной на совесть постарался.

– Позвони матери. Узнай, как она едет. Не мёрзнет ли?

Когда втащились с чемоданом в купе – ощущение было такое, что втиснулись в ледяной ящик: пар шёл изо рта. Но проводница заверила, что тепло уже дали, вагон прицепной, через полчаса будет жарко. Вот увидите. А пока – чай принесу.

2

При первом знакомстве Ирина Городской не понравилась. На свадьбе в Москве, куда Екатерина Ивановна прилетала из Сургута на один только день, рядом с потерянным сыном она увидела надменную девицу с зелёными пустыми глазами и висящими ручьями волос. К тому же девица оказалась точным клоном своей матери с такой же свисающей причёской и пустыми глазами. Которые смотрели на новоиспечённую родственницу (Городскову) с большим недоумением. Как на упавшую с неба. (И откуда такая чумичка? С Севера? Что вы говорите!) Однако при прощании возле двухэтажного ресторана, в котором и прошла чопорная свадьба на пятнадцать персон, она практически поинтересовалась, сколько сможет внести «чумичка» денег на отдельную квартиру. И добавила даже игриво – «для гнёздышка нашим молодым». Быстро дотумкала, раз «чумичка» с Севера, денежки у неё есть. Муж чопорной (сват) на свадьбе был неуследим. Всё время убегал на первый этаж встречать какого-то Вадима Гедеоновича. (Запомнила по редкому отчеству.) Видимо, очень нужного человека.

Городскова тогда прямо сказала сыну в аэропорту: не по тебе ноша, сынок.

В самолёте, закрыв глаза, почему-то видела только чёрный потолок ресторана со светящимися дырами. В виде ле-

тающей тарелки. Зависшей над красноносыми галдящими инопланетянами.

Через год, когда у Валерия родился сын, Екатерина Ивановна, поколебавшись, взяла двухмесячный северный отпуск и опять прилетела в Москву. Теперь помогать невестке с новорождённым. Резонно подумав, что на модную маму Ирины надежды не будет никакой. И не ошиблась – за два месяца, что была с младенцем (Ромкой) увидела ухоженную бабушку только три раза. И то всё у неё было на бегу – поспешные попугайчики, погремушечки над кроватью, ах ты маленький, и: мне пора, такси внизу ждёт! Свата же не увидела вовсе. Тот, видимо, всё бегал по Москве, искал Вадима Гедеоновича.

Что и сделали они хорошего для дочери и внука, так это купили квартиру. В новостройках Теплого Стана. И то большую часть денег за трёхкомнатную (однако «гнёздышко» для молодых!) выморщили у неё, Городсковой, через день названивая по телефону и называя «дорогой сватьяшкой». Не забывая, впрочем, и вернуть каждый раз: «Вы же понимать должны, здесь Москва, а не ваш Сургут».

Хорошо запомнив жену сына на свадьбе, через год Городскова её не узнала. В квартире в Тёплом Стане сновала молодая, совсем незнакомая женщина В байковом мятом халате, точно даже не сменившая его после роддома, всё время хлопотала возле сынишки. Надменная зелень в глазах растворилась, глаза потеплели. Ручьи по щекам тоже исчезли,

повязывала голову чистым белым платком.

Ребёнка родители назвали Романом. Роман не реагировал ни на какие посторонние «агу» словно бы из принципа. Был серьёзен и даже сердит. Как и его отец. Если принимался орать, то как-то обеззвученно и нежно, почти сразу теряя голос и крепко зажмуривая глаза. В ванночке бил одновременно и ручками, и ножками. И тоже серьёзно. Точно на мелководье учился плавать. И свекровь, и сноха работали быстро: одна брала из ванночки молчащий скрючившийся пудовичок, другая принимала в раскрытое полотенце, быстро просушивала, потом пеленала. Все процедуры с ребёнком напоминали слаженную работу двух санитарок в роддоме. Посреди вопящего младенческого войска на столах. Ирина схватывала всё налёту. Екатерина Ивановна была довольна. От скужающей девицы с пустыми глазами не осталось и следа.

Набегавшись, Ирина расслабленно кормила Ромку грудью. В такие тихие минуты стремилась как-то сблизиться со свекровью, подружиться, называла «мамой», по-женски даже расспрашивала *о личной жизни*. Городскова улыбалась, отшучивалась, проглаживая на высокой доске пелёнки и подгузники. Улетела домой со спокойной душой – невестка, как мать малыша, на правильном пути. Скребло, правда, душу, что сыну в квартире с маленьким места не стало. Пытался он, правда, в первые дни помогать. Но всё получалось у него неуклюже, с запозданиями. Его отталкивали от кровати. А если и давали подержать сынишку, – то руки дер-

жал растопыренно, корытом, из которого ребёнок мог просто выпасть. Ребёнка тут же отбирали. Смурной математик. Или, как говорят сейчас, ботаник. Выпускник МВТУ им. Баумана. Окончивший с отличием.

Первые годы вообще не могла понять, что их связывает. Кроме ребёнка. Как мужа и жену. Зачем они поженились. Есть ли любовь какая-то у них. Ей, матери, казалось, что сын и спал-то всегда отдельно. В своей комнате. Вместе с Ромкой, бумагами, чертежами и книгами. По крайней мере, когда она приезжала, он всегда спал там. Хотя квартира трёхкомнатная, и спальня у них, как хвасталась всем холёная сватья, шикарная. (Спальня и в самом деле напоминала царскую из музея, где ничего нельзя трогать руками, где только Ирина могла сидеть перед зеркалом (шикарным) и накладывать на лицо крем или маску.) Словом, – совершенно разные люди: она, любящая гостей, фейерверки, шумиху, он – словно не высывающийся из-за печи таракан. Которого все нороят прихлопнуть.

Но однажды дома, в Сургуте, среди ночи разбудил телефонный звонок. Захлёбываясь слезами, Ирина сообщила, что Валеру срочно положили в больницу. У неё упало сердце: что, что с ним? Говори ясней! В трубке только булькало. Потом прорвалось: «Аппендицит! Мама! Срочно прилетай!» Городскова выдохнула напряжение, чертыхнулась. Но уже утром вылетела в Москву. В палате московской больницы увидела сына с перевязанным животом и сноху. Чуть не

в обнимку на кровати. Припали друг к дружке. И улыбаются тебе выстраданно. Со слезами на глазах. Натуральное индийское кино. Да что же вы со мной делаете! Закалённая медсестра обняла голубков и заплакала. В полной с ними гармонии.

3

В начале февраля Городскова увидела Дмитриева в поликлинике. В коридоре второго этажа. Старик выходил из кабинета терапевта. Был он бледен, вытирал платком пот.

– Что с вами, Сергей Петрович? Заболели?

– Простудился, – всё вытирался, уводил глаза Дмитриев. Словно извинялся перед женщиной. Начал кашлять, тупо бұхать, закрывая рот платком. Пояснял: – Бегал в парке. На легке. ОРЗ. – Помотал рецептами: – В аптеку сейчас. Потом к вам, наверное. На уколы.

– Ещё чего! – Екатерина выхватила рецепты. – Сейчас же идите домой. Рот замотайте шарфом. В обед приду, всё сделаю.

Дмитриев полез в пиджак, видимо, за деньгами на лекарства.

– Идите, идите, я всё принесу.

Пошёл. На ходу обернулся:

– Так у меня и капельница...

– Идите, идите. Всё будет. Дома – побольше горячего питья.

Тощее напряженное бедро лежащего старика походило на жёсткую телячью ляжку.

– Расслабьтесь, Сергей Петрович. – Городскова воткнула

в ягодицу иглу. Укол медленный, болючий, но – ни звука от лысой головы, уткнутой в спинку дивана.

– Держите ватку.

Сразу схватился и натянул штанину пижамы.

Подвесила бутылку с лекарством на дверцу книжного шкафа. Змейки до старика хватало. Вена на сгибе локтя была как у молодого, проступала рельефно, наполненно. Спортсмен. Выпустила струйку из иголки, ввела. Зафиксировала пластырем. Наладила нужный ритм капель.

– Лежите, Сергей Петрович. Поглядывайте на бутылец.

Сама пошла на кухню. Приготовить что-нибудь старику. Потом в комнате возила лентяйкой, подтирала пол. Лезла под стол, под два кресла, норвила под диван с больным. Опять везла тряпку под стол. Там шуровала. Старик невольно видел её открывающиеся крепкие ноги. В тёплых полосатых, каких-то балетных чулках. Толстоногая балерина! Снова смотрел на «бутылец», которому, казалось, конца не будет.

Он несколько расслабился, размяк от спадающей температуры. На удивление много говорил. Называл её даже на «ты». Расспрашивал о жизни на Севере. Была ли замужем.

– Да сошлась там с одним. Когда уже сын жил в Москве. Расписалась даже. Года два всё было нормально. Потом он стал жить беспутно. Пил, девок менял. В общем, надоело. Развелась. Деньгами взяла свою долю за квартиру. Приехала вот сюда, на родину. Деньги, помимо разделённых, были.

Сразу купила квартиру. Теперь живу барыней.

Дмитриев смотрел на сгибающуюся женщину: врешь, дорогая, на барыню ты не похожа. Ты больше – собака, сука с тоскующими глазами. Ничего, всё ещё у тебя впереди. Время у тебя ещё есть. Старик был верен себе – он видит людей насквозь. А уж женщин – особенно. Неожиданно спросил:

– Катя, почему ты приходишь? Заботаешься обо мне, уборки всякий раз устраиваешь, готовишь?

:Женщина отжала в ведро тряпку, распрямилась с лентяйкой, тылом ладони откинула прядь со лба. Спокойно сказала:

– В память о вашем сыне, Сергей Петрович. Да и медсестра я, в конце концов.

Снова начала возить по полу тряпку.

– Но он пропал больше тридцати лет назад, – не унимался Дмитриев. – Он любил не тебя. Твою подругу. Которую и любить-то не надо было. Так почему?

Женщина приостановилась. Словно припоминая.

– Мы дружили с ним. – Продолжила возить.

Неудовлетворённый, Дмитриев смотрел в потолок, забыв про капельницу. Пытался вспомнить далёкое. Две подружки не разлей вода. Одна, Ленка Майорова, начала ходить с их Алёшкой ещё в десятом. Дружить, как тогда это называлось. Как верная подружка, Катька Городскова поддерживала влюблённых. Чуть ли не всем классам часто заваливались к ним домой. Тут уж Надежда привечала. Кормила голодных волков и волчиц, поила чаем с пирогами. Один раз да-

же встречали у них Новый год. Одни, без родителей. Отцу и матери пришлось уйти к друзьям. Потом Алёшка с Ленкой из-за чего-то разругался. То ли приревновал, то ли она ему на самом деле изменила. Тут его забирают в армию. Потом Афганистан. Ленка сразу выскакивает замуж. А их покровительница Катька Городскова ещё раньше куда-то из города укатила. Кто-то рассказал потом Наде – уехала вроде бы к старшей сестре. То ли в Надым, то ли в Норильск. Оказалось – в Сургут. И больше о ней никто и ничего. И вот появляется через тридцать лет... И сразу такое внимание... Почему?

Когда Екатерина ушла, с замотанным горлом хлебал щи за накрытым ею столом. Всё припоминал давнее. В телевизоре, зачем-то включённом Городсковой, опять разглагольствовал о достопримечательностях старой Москвы некий клоун. Выглядел дико – в русской ушанке, в каком-то армяке, но зато с дендинским стеклом, тростью, которой он жонглировал, показывал всё, а так же оттенял, подчёркивал свои слова. Точно с нею родился. Этакий доморощенный квасной лорд. Опять всё перевернули! Армяков в аристократы. Аристократов в армяки. Опять всё с ног на голову! Клоуны.

Чувствуя слабость, не хотел вставать, чтобы выключить телевизор. Продолжал мрачно хлебать щи. В груди, как в дырявых мехах, сипело, похрипывало, от сбитой температуры обдавало потом.

Однако ночью опять температура поднялась. Горел. Всё время кашлял. Длился и длился какой-то полусон, полубред.

Видел Алёшку пятилетнего. Алёшку, тонущего в реке. С высокого берега прыгнул к нему, но пока летел к воде, всё рассыпалось. И словно бы проснулся. Сидел уже почему-то на городском пляже, где под твист приседали, пилили песок Майорова и Городскова. Обе в купальниках. Одна длинная, гибкая, как прут, другая приземистая, плотная, с широким бёдрами. Солнце пряталось за них, играло в жмурки, а Алёшка, почему-то взрослый уже, как ни в чём не бывало ходил по всему пляжному лежбищу, пел, затачивал на гитаре. Получалось – зарабатывал на жизнь. Старик садился на диване, мокрый от пота. Шёл в ванную, снимал с себя всё, надевал сухое. В кухне из термоса наливал и пил заваренную Екатериной малину. Снова ложился. Опять проваливался в полубред.

Екатерина Ивановна позвонила в половине восьмого утра. Старик открыл. Щёки его были красными, как у матрёшки. Сразу поставила градусник. Почти 39. Разломил, дала половинку аспирина. С водой старик безропотно заглотил. Пока готовила укол, с тревогой слушала всё тот же бухающий кашель: не пневмония ли это? Вкатила в тощую ляжку антибиотик. Дала таблетки. На кухне разбила яичницу. Заварила крепкого чаю. «Приду в половина первого, Сергей Петрович!» «Спасибо вам, Катя. Дверь закрывать не буду».

В обед увидела старика сидящим на диване. С поднятыми высокими коленями. Журнал в руках. Лицо всегдашнее – сухое, бледноватое. Не кашляет. Ну, кажется, пронесло!

Быстро вымыла руки, стала готовить укол и капельницу.

С засученным рукавом пижамы Дмитриев лежал, мало обращая внимания на приготовления Екатерины Ивановны. Из всего ночного кошмара всё время возвращалась только одна картинка – тонущий в реке Алёшка. Его хлещущие воду ручки и исчезающая голова.

Сергей Петрович закрыл глаза, перекинул себя на бок, к спинке дивана, и задрал сбоку пижаму. Остальное – дело Екатерины.

Почувствовал на бедре холод спирта.

– Расслабьтесь, Сергей Петрович.

На самом деле он научил Алёшку плавать лет с четырёх. Сначала мальчишка сам, как всегда любознательно, опускал на мелководье голову в воду и рассматривал фантастическое, преломляющееся в солнце галечное дно. Ложился даже на воду. Но сразу уходил под неё, тут же вскакивал и хлопал себя по лицу. Точно боялся потерять глаза. Снова опускал голову в воду. Отец подхватывал его под животик. Мальчишка начинал лупить ногами и руками. Как и когда научился плавать – не запомнил. Уже постарше бойкими сажёнками всегда рвал за отцом на середину протоки и открывал по нему водяной огонь. Тот мало обращал внимания на брызги, вяло плыл себя дальше. Тогда Алёшка поворачивал и так же шустро махал обратно к берегу. К бухтящей пароходом матери. По ней открывал водяной огонь. То-то весело было!

Классе в третьем Алёшка Дмитриев задал читающему газету отцу первый провокационный вопрос: «Папа, а правда, что слово ТАСС означает – «Тайное Агентство Советского Союза?» И хитро прищурился. Он только что пришёл из школы. Он был в запоясанной гимнастёрке колоколом, на голове фуражка, за спиной – ранец.

Надежда (мать) смеялась до слёз. И от вопроса сына, и от его вида. Сам Дмитриев смотрел на отпрыска с удивлением и даже тревогой: с большой фантазией растёт сын, трудно ему

будет в жизни. Принимался досконально разъяснять аббревиатуру: «Понимаешь, сынок, это...» Надежда от смеха валялась на стол. Дмитриев поворачивал голову: и что смешного? А маленький провокатор стоял, раздувал ноздри. Соображал, какую ещё придумать всем кову.

В пятом он взорвал в классе петарду. На уроке географии. Елена Николаевна (географичка) рухнула в обморок. Её потом отпаивали. Всем классом. Сам провокатор суетился больше всех. Прыскал водой на лицо. Приподнимал и усаживал. Это его и спасло. Оказал первую медицинскую помощь. Из школы не выгнали.

Дмитриев сам налил Екатерине чаю и спросил, умеет ли Рома плавать.

Городскова удивилась вопросу. Однако воскликнула:

– Да где там! В Москве-то! Сергей Петрович!

Старик усомнился: ну а как же бассейны, Москва-река, пляжи?

– Нет, Сергей Петрович. Математическая школа. Он через козла-то в спортзале толком перепрыгнуть не может. Да и не выезжают они ни на какие пляжи. Мать всё в гости да гостей. Отец – в бумагах своих. Только и делают, что раскармливают мальчишку.

– Я научу его плавать. Приедет летом, и научу. У меня дача рядом с рекой. Прекрасный берег, чистое дно.

Посмотрел на женщину и опять неожиданно спросил:

– А вы с какого класса учились вместе с нашим Алёшкой?

Странные задаёт сегодня старик вопросы. Городскова уже собиралась, складывала свою сумку. Сказала, что с восьмого. В новой отстроенной десятилетке. А что, Сергей Петрович?

Та-ак, значит, в семилетке с ним не училась, про взрыв петарды в классе не знает.

– Да нет, ничего. Вспомнилось тут просто. Расскажу как-нибудь.

Он сидел тогда вместе с сыном напротив директорского стола. Закинувшаяся в кресле директорша походила на Будду. Постукивала карандашиком:

– Расскажи нам, Алёша Дмитриев, зачем ты это сделал? А мы послушаем.

Сверху Дмитриев тоже смотрел на сына, как голубь на своего пискуну: да, действительно, расскажи!

– Я хотел взорвать её вечером в парке, на танцплощадке, а она взорвалась у меня в классе, – сожалел взрывник. – Днём, Зоя Ивановна.

Вот это террорист растёт, онемели на какое-то время тощий Дмитриев и полная Зоя Ивановна.

После ухода Городскойой старик включил компьютер. Тут же на столе начал разбирать тетради с конспектами, искать нужную. В груди иногда словно чесалось. Кашлял.

Компьютеров тогда ещё не было. У Алёшки был кассетник. Постоянно с затычками в ушах – Алёшка мотал башкой. Тогда же, в классе седьмом-восьмом быстро научился на гитаре. Мальчишки и девчонки собирались у них в квартире.

Пели вместе с ним под гитару, напоминая подпольную радостную секту. Потом сдвигали стол, врубали магнитофон, долбили в рокэнрольной ломкой тряске. Или стелили, гоняли по квартире твист. Дом ходил ходуном. Соседи жаловались. Партийная Надежда только посмеивалась. Беспартийный Дмитриев хмурился – тлетворное влияние Запада. На неокрепшие умы. Вся орава катилась по лестнице вниз на улицу. И Алёшка впереди, явный лидер, заводила.

Старик почувствовал влагу в глазах, вытер её платком. Сосредоточился на экране.

В медучилище, куда Катька Городскова поступила после десятого, на первых занятиях старалась не смотреть на мужчину и женщину на учебном плакате. В коричневых деревьях вен и артерий они казались ей только что освежёванными. С них как будто содрали кожу. Подружка Ленка Майорова, сидящая рядом, плакат, казалось, не замечала – прилежно записывала всё, что говорили преподаватели в белых халатах.

Зато в анатомичке, куда на автобусе возили два раза в неделю, уже Катька подносила ватку с нашатырем к носу Ленки. Приседая, по глазам пыталась определить, упадёт та в обморок или нет. Выводила в коридор и вела. Как раненого воина с поля битвы – крепко под руку.

Через полгода Ленка ушла из медучилища. Вечерами стала ходить на подготовительные в педагогический. Богатенькие родители её были довольны – их девочка не теряет времени, продолжает работать над собой, готовится к новому поступлению.

Катька не могла капризничать из-за анатомички и разных плакатов – мать и отец получали мало. Поэтому упорно училась в училище, получала стипендию.

Вечерами иногда собирались у Алёшки. У Дмитриевых. Многие ребята и девчонки после выпускных разлетелись кто куда. Но костяк из шести-семи человек остался. По-преж-

нему пели под Алёшкину гитару, дурачились, съедали всё у Надежды Семёновны на кухне. Сам Дмитриев хмурился, но терпел. Уходил в свой кабинет. Когда башни у рокэнрольщиков окончательно сносило и дом начинал ходить ходунном – возникал в дверях. С глазами размером с тазы. Точно устыдившись таких глаз, вырубали маг, начинали собираться. Чуть ли не на цыпочках выходили. И с рёвом неслись вниз. И как поставленная точка – ударяла на весь дом подъездная дверь. Сергей Петрович вздрагивал. Поворачивался жене – и ты их привечаешь! Этих балбесов и балбесок!

Вспоминая те далёкие годы, Екатерина Ивановна ощущала их теперь как приснившийся какой-то спектакль, как некую оперетку, где вокруг уверенной в себе Майоровой, как вокруг смазливой героини, всегда танцевал восхищенный мужской кордебалет. Ленка только пела, солировала. В ожидании своего Альфредо, бойко вздёргивала ножки. И он явился на сцену. Алёшка Дмитриев. В десятом. Переведённый из параллельного класса. Словно выскочил из-за кулис. («Стелла! Это я!») И теперь они запели вдвоём. Взявшись за руки. Герой и героиня. А она, Катька Городскова, была подружкой героини, верной её служанкой, которой можно было поверять все тайны.

Часто ходили за город, в двухдневные походы. Один раз даже с родителями Алёшки.

Сохранились три фотографии того похода. Особенно заметной была одна, где ватага поёт у ночного костра. Даже

Сергей Петрович рядом с сыном разевает рот. На лицах поющих тёплый ответ костра.

Екатерина Ивановна вздохнула, закрыла альбом. Стала готовиться ко сну. Умываясь, с улыбкой вспомнила и своего первого ухажёра. В медучилище уже.

Комсорг группы Коля Трындин на собраниях мог зажечь девчонок в белых халатах. И даже второго парня в группе, Куликова. Который сидел за последним столом и выглядел оттуда, будто из своей деревни. И всё бы хорошо, но оказалось, что Коля не умел целоваться. Схватив её лицо, он впивался в губы как пиявка. Как будто стремился высосать из них всю кровь. Городскова мотала головой, не соглашалась. Молча шли по темной улице шагов десять – и он снова впивался. К тому же изо рта у него нередко дурно пахло. Карьер, как сказали бы сейчас. Орбит. Тройная защита нужна. Словом – мягко выскользнула из Колиных рук.

Недавно случайно встретила его в городе. Через тридцать лет. Бледный, в очках, был он как-то нечёток, мало узнаваем. Как плохо отпечатанный фоторобот на розыск. Оказалось, что и правда связан с милицией. С полицией теперь. Подрабатывает врачом в медвытрезвителе. Основной работы нет. Почему-то сказал ей об этом. Не постеснялся. На вопрос о семье ответил, что холост. Так и не женился. Были женщины, конечно, но не задерживались. Видимо, из-за его поцелуев. Засмеялся, пошёл от неё, махнув рукой: заходи! Куда, хотелось крикнуть. В медвытрезвитель? Даже не спросил о

её жизни.

Перед трельяжем мазала на ночь кремами лицо и руки. Всё вспоминала Колю.

Однажды он завёл её к каким-то старикам, у которых жил когда-то на квартире. При виде его старик и старуха вскочили, оба сразу заплакали, затряслись. Гладили его плечи, голову, заклёкиваясь радостными голосками. Как будто к ним зашёл не просто бывший квартирант, а вернулся сын. Давно пропавший сын. А Коля давал им гладить себя и только виновато улыбался,

Он был им никем. Просто бывшим квартирантом, занёсшим какое-то лекарство, о котором они тут же забыли. И вот плакали... Тот случай запомнился на всю жизнь. По нему и вспоминался потом Коля. Любой тогдашней девчонке в училище он был бы хорошим мужем. Хорошим отцом своим детям. Да ведь по молодости тогда поцелуйи всем правильные подавай, объятья, голливудские зажимы. Бедный Коля.

Мельком глянула на телевизор. На фуршете так называемые интеллектуалы. На шеях у всех по новой моде повязанные шарфы. В виде высушенных удавов. Рядом дамы истерично общаются. Будто все хотят писать. Ещё одна. Стоит отдельно. Чтобы лучше разглядели. В коротком платье будто колокол. С большими бантами на плече и бедре. Этакий дорогой, уже упакованный подарок. Для мужа или хахаля рядом. Не поймёшь. Прозрачный бокал держит на пальчиках, как чашу.

Переключила канал. «Почему ты не дождалась меня? Я же любил тебя! Скажи! Что нам теперь делать?» Вроде то, что нужно. Но поборола себя – выключила сериал. Утром рано вставать.

Глава третья

1

Дмитриев стал выходить на воздух. В старом толстом пальто сидел на скамье в парке. Над ним в оснеженных деревьях стояла белая туманящаяся тишина. Солнце висело в сизых облаках, как седой апостол.

На соседнюю скамью тяжело сели два старика. В стёганных, будто поддутых пальто, походили на двух клуш с одной палочкой на двоих.

– ...Ты говоришь, Иван, – физкультура по утрам. Да все движения у нас теперь это физкультура. Поднимаешься утром с постели – физкультурное упражнение. Присел, взял ночной горшок – физкультура. Идёшь по улице, тебя мотает во все стороны – это уже целый урок физкультуры. На воздухе.

Дмитриев встал, чётко пошёл. Х-хы. «Физкультура». Сидят целыми днями – и физкультуру им теперь! Не признавался себе, что хотелось подсесть к старикам. Поговорить. Но это было бы чёрт знает что! Для него. Человека с характером. Ххы, физкультура!

Уже чистили с домов слежавшийся снег. Как будто сбрасывали с крыш тугие мешки с мукой. Дмитриев обходил раз-

бывшиеся белые лавы, думал о старости. Подводил под старость философскую базу. Не имея к ней, старости, никакого отношения. Все старики не понимают настоящего, в котором живут. Им всё в нём неприемлемо. В лучшем случае – они его только терпят. Они живут грёзами. Они тащат на себе груз прошлого. И груз этот, в конце концов, раздавливает их.

Дома обедал. Ел гречневую кашу. С котлетами, приготовленными Екатериной. Вот тоже – зачем ходит? Говорит – в память о сыне. Давно пропавшем. Они, видите ли, дружили. Как на заказ, в телевизоре возникли американские пенсионеры-туристы. Голоногая группка в шортах тарасилась на пирамиду Хеопса. Пальма рядом. Верблюд. Все в пробковых шлемах. Закинули головы. Уже пальму разглядывают. В жизни не видели.

С ухмылкой смотрел. Бегают от смерти. По всему земному шару. Меняют города, страны. Думают, что время так остановят. Удлинят. Не будет оно бежать, лететь. Спокойно потечёт, поползёт, потянется. Как в молодости было. Ххы. Глубокое заблуждение. Не выйдёт! Нужно жить на месте. Никуда не бегать. Не пальмы разглядывать, а заниматься делом. Ежедневным, нужным делом. Время бежит, когда не следишь за ним.

Дальше наш невысокий рыжеватый глава государства встречал возле длинного стола своих соратников. Мимо него быстро промчалась радостная очередь с протянутыми пожимающими руками. Этаким быстрым лихой конвейер рук.

Мгновенно расселись, по-прежнему улыбаясь. (Ни минуты не потеряно государственного времени!) Точно прибежали на именины, а не заседание Совета безопасности. Тоже плохо. Тоже желчь. Дмитриев поднялся, понёс посуду на кухню.

Мыл. Вспоминал теперь сына. Алёшку. Его учёбу в школе. У него были любимые предметы и нелюбимые. Литература, география, история, химия – только пятёрки. Алгебра, геометрия, физика – два-три, два-три. Так и прохромал калеккой до самого выпуска.

Неспособность сына к точным наукам не просто огорчала – поражала. Дмитриев смотрел на маленькую точную копию себя самого и не верил, что так может быть. Когда подсылаемый матерью сын подходил с простейшим примером, задачей и говорил «помоги, папа», при этом упрямо смотрел в сторону – Сергей Петрович растерянно улыбался. Он думал, что жена и сын его разыгрывают, обманывают, Но всё было именно так – сын был бездарен в точных науках. Всё больше стишата, поэмы. Евгений Онегин в школьной самодеятельности. Цилиндр как ведро на нём, свисающие рукава фрака без рук. Только с кончиками пальцев. Такая же Татьяна, будто лилипут. «Я вас любил, чего же боле». Надежда отшибла руки, хлопая своему сыну на сцене. Жаль. Не оправдал отцовских надежд...

Забыто держал тарелку под хлещущей лейкой. Закрыв, наконец, воду.

В прихожей раздался звонок. Нахмурился. Пошёл откры-

вать. Подруга Алёшки пришла. Легка на помине.

– Екатерина Ивановна! Я же здоров. Выхожу на улицу. А вы опять притащили полные сумки!

Раздевшись, женщина молча пошла на кухню. С сумками. Как отвоёванными ею.

Старик доказывал упрямой спине, что больше о нём беспокоиться не нужно. Он абсолютно здоров. Екатерина Ивановна! Так выговаривают бывшей жене, любовнице. Которая продолжает лезть в новую (после болезни, развода, разрыва) жизнь. Сколько можно!

– Я знаю, когда вы будете здоровы, – ответили ему, выкладывая продукты на стол. Свободный ворот кофты крупной вязки как живой упрямо болтался на женщине. В виде готовящейся к прыжку анаконды. Дмитриев даже отпрянул.

В комнате заиграла эсэмэска. И сразу вторая. Две иволги прилетели от Ромки. Это и спасло Екатерину. Старик разом забыл о ней и её сумках, читал сообщения. Сам тут же начал давить буквы в ответ. Большой палец работал быстро, уверенно. Екатерина смотрела. Сегодня пронесло. Скандальничать не будет. Вернулась в кухню. Крикнула:

– О чём пишет? Сергей Петрович?

Он тут же явился. Глаза его сияли:

– Вот, почитайте, Катя! Чего ваш внук достиг.

В эсэмэсках Ромка сообщал, что будет участвовать в соревновании. По шахматам. Екатерину Ивановну это не удивило. Участвовал. Не раз.

– Да как вы не понимаете, Екатерина! Он же талант! Вундеркинд! Он послан на турнир один из всей школы. Он же получит там разряд. Юношеский. В десять лет! Неужели непонятно?

Невелико будет достижение. Лучше бы спортом нормальным занимался.

Дмитриев был поражён. Вот это бабушка у Ромы. Не понимать всей важности, всей пользы для внука подобных соревнований!

– Да вы должны всячески его поддерживать, поехать в Москву! Быть рядом с ним!

– Я поеду. Но не на соревнование. – Городскова помолчала, продолжая разбирать продукты на столе: – Вы многого не знаете, Сергей Петрович. У мальчишки обнаружился высокий сахар в крови. Преддиабет. Ему нужно двигаться, играть со сверстниками. Во дворе. На стадионе. Где угодно. Скейт-борды там разные, боулинги. А он сидит над своими шахматами. К тому же ест без меры. Ирина говорит, что посадила на диету. Плачет, но кормит пустой едой. Только надолго ли её хватит. Ко мне его не отпустят – математическая школа. Где он круглый отличник.

Старик всерьёз опечалился.

– Простите, я не знал.

Екатерина вдруг спросила:

– А у вас в родне никто не болел диабетом?

Старик удивился, при чём тут он, Дмитриев. Его родня.

Сказал, что нет. Не припомнит.

– Вот видите! – воскликнула Городскова. Но тут же смешалась под взглядом старика. Не знала, куда смотреть. – А мой дядя Миша, брат мамы, умер от диабета. Выходит, это по моей линии и передалось всё бедному Ромке.

На доске тесаком ударила по вилку капусты. Отрубила кусок. Стала шинковать. С улыбкой уже говорила:

Только и надежда на вас, Сергей Петрович. На вашу дачу летом. На речку. На походы.

Дмитриев тут же подхватил идею. Стал развивать её. Предлагать новые планы. Замороженный скептик куда-то пропал. Руками на кухне размахивал пламенный подвижник. Воспитатель. Доктор Спок.

Ночью Екатерина плакала. В темноте видела глупого Ромку с лоснящимися щеками, самозабвенно поедающего целую жареную курицу (был такой случай). Потом такого же глупого тощего старика, который больным встал, притащился к ванной и судорожно рвал из её рук своё бельё, не давая заложить в машинку. Ушёл назад по коридору и лёг, кипя от возмущения. Тоже было.

2

Ещё летом как-то шла с тяжёлыми сумками с рынка через парк. Присела на свободную скамейку передохнуть. Вытираюсь платком, поглядывала на злое, обеденное солнце.

Напротив через аллею сидела пара. Женщина казалась гордой и недоступной. С глазами как серая пыль. Мужчина с расплоснутым хоботком походил на боксёра на пенсии. Он побалтывал с колена ногой в сандалии и рассуждал:

– Знаете, часто говорят: «Я с ним в разводе». В этом выражении есть что-то неопределённое, временное. Мол, всё ещё может измениться. Правильно нужно говорить: «Я с ним развелась!» Тут уж всё точно – враги... Что вы думаете по этому поводу?

Женщина посмотрела на боксёра сверху вниз, поднялась и пошла, что называется, передёргивая плечами. Вот тебе раз! Оказалось, что они незнакомы. Это у боксёра такой метод знакомства.

Словно тоже бросив растерявшегося мужчину, Городскова с сумками пошла. Невольно вспоминались и свои «замужества и разводы». Говорила ли так после них – «я с ним в разводе».

С мужчинами, и уж особенно с мужьями, Городской всегда не везло. Родила почти девчонкой, без мужа, едва успев окончить медучилище. Одна растила сына. Лет два-

дцать жила без мужей и любовников.

Когда Валерка уже в учился в Москве, сдуру сошлась с проктологом Жаровым. Работала в его бригаде хирургической сестрой. Шумный, общительный Жаров умудрялся пить, оставаясь при этом первоклассным хирургом. Любые трещины прямой кишки, любые геморрои иссекал на раз. Его пьяные прибаутки во время операций, его чёрный юморок сначала забавляли. Потом стали пугать. Не дожидаясь неминуемой катастрофы – ушла от него. На этаж ниже. К другому хирургу. Ганкину. Гораздо моложе Жарова. Тогда ещё не пьющему. Который резал грыжи и выколупывал простаты. Жарова это несказанно возмутило. «Ах ты стерва! Ах ты б....!» Начал строить разные козни. Нашёптывать Прохорову. Главврачу. Тоже не дураку выпить. За мензурками спирта всё время подсказывал ему планы изгнания стервы. Однако победы своей не дождался. Упал и замёрз. Глубокой ночью, в пургу. Добираясь домой из ресторана. Ей даже стало его жалко. Всплакнула на похоронах. Длинный Ганкин удерживал её на груди и тоже шмыгал носом: «Классным был Петрович хирургом! Ы-ых!»

Это не помешало ему потом доставать с ревностью. Ревновать к умершему. Требовать подробностей. Вскоре сам начал поддавать. И порой крепенько. Дальше и бабёнки пошли. Одна, другая, третья. И все из своих, из родного белого медперсонала. А ведь она уже была с ним расписана. Жила в одной квартире. Словом, тоже надоело. Как и с Жаровым.

Развелась. Взяла свою долю за квартиру. Уехала. В родном городе устроилась в поликлинику. В простой процедурный кабинет. Втыкать уколы и ставить капельницы. Да так оно и спокойней, чем опять стать штатной б... при каком-нибудь хирурге. Пусть и первоклассном.

Прожитые на Севере годы не отпускали. Иногда, как анекдот, вспоминался ещё один любовник тех лет. Милиционер Дронов.

С ним Городскова познакомилась на протестной акции. В 93-м. Пыталась ударить его фанерным плакатом. Дронов отступал, малодушно закрывался руками. Медицинские протестные соратники отобрали плакат. Опасались провокаций. Стала безоружной. Тогда милиционеры потащили и начали заталкивать в автозак. И больше всех старался униженный Дронов. Даже потеряв отважную Городскову, медицинские соратники не дрогнули, не отступили, продолжили вегетарианскую схватку с милицией – долго выкрикивали и размахивали плакатами прямо напротив окон администрации города.

Дальше началась какая-то фантастика. Через неделю Городскова и Дронов оказались за одним столом на дне рождения у общего знакомых. Сидящими рядом. Он спросил её, как дела. Она ответила: заплатила десять МРОТов. По твоей милости, мудака. Резонно, согласился он. Выпили. Закусили. Запели за столом песню. Проводил. Раз. Другой. Оказался у неё в постели.

Он был разведенный. И это хорошо. Но у него в колонии сидел сын. Шестнадцать лет. Наверное, поэтому он сразу начал строить Валерку. Ставил перед собой мальчишку и требовал полной отчётности. В форме – молчала, не трогала. Когда пришёл строить в штатском – спустила с лестницы. Вспоминать сейчас без смеха невозможно!

Сакраментальный вопрос об отце юный Валерик задал матери там же, в Сургуте. Увидев промчавшегося по улице весёлого каюра с оленьей упряжкой.

– Мама, а это мой папа проехал?

– Нет, – сказала мама. – Это не твой папа.

Странно, подумал Валерик. Ведь только таким и мог быть его папа. Весёлым, в морозном пару, крикнувшим ему ясно – «привет!» Было Валерику четыре года. Мама вела его в садик. И пальто и шапка, закутанные шалью, были у него обыкновенными. Не такими красивыми, как у пролетевшего папы.

Больше вопросов «о папе» Екатерина от сына не услышала. Во всё его детство. Не пришлось выдумывать ни про поллярника-папу, ни про лётчика-испытателя. Тоже папу. Валерик был умным мальчиком.

Иногда Екатерина Ивановна смотрела на пожелтевшую фотокарточку в альбоме. Каждый раз как будто не совсем узнавая её. Стоит на стуле мальчишка лет полутора. В коротких штанишках и гольфиках в шахматную клетку. Сразу по-

сле рёва – испуганный, напряжённый. Видимо, еле успокоенный матерью. Какое уж тут – «улыбочку, мальчик!». Фотографу бы поскорее успеть снять. Прежде чем снова разревется. Если считать эту фотокарточку пророческой – сын так и остался навек испуганным и напряжённым. Всё так же стоящим словно бы на том далёком стуле. Куда как только ставили – ревел. (Поставишь на стул – Ыаа! Снимешь – молчок.) В садике всё у него отбирали, ото всего отталкивали. Балбесы в школе постоянно сдували у него физику и алгебру, но потом как-то об этом забывали – поколачивали. Больше жалости Городскову брала досада: в кого он такой уродился? Сама она в карман за словом никогда не лезла. Ведь даже для всех безымянный отец его – в школьные годы был оторви да брось. Хулиганил, дрался, не спускал никому. А вот сын ответить не может, не может за себя постоять. Так и дальше пошло. Всегда отойдёт в сторонку. Или сразу зайцем стреканёт. Как стал референтом министра – непонятно. Так же и с женьбой, а потом и с семьёй. Не завоёвывал, не добивался. Всё как-то само. К его немалому, наверное, удивлению. Ирина со смехом однажды рассказала, как познакомилась с ним. На новогоднем вечере, в Бауманке. Один выпив в буфете бокал шампанского и окосев – на танцах он прыгал перед ней зайцем с сомкнутыми ногами, перепутав вальс с легкой-енкой. Потом вообще начал жутко колотить ногами об пол. Будто обезумевший цыган. И всё – под вальс. Его еле утихомирили. Екатерина смеялась вместе с невесткой, но на

глаза наворачивались слёзы.

Как всякая русская баба, Городскова любила смотреть по телевизору семейные склоки, захватывающие скандалы. И всё – в прямом эфире. С упоением слушать сплетни о так называемых «звёздах». Кто с кем спит. Кто от кого ушёл. Кто кого бросил. И так – до бесконечности. Каждый вечер садилась с вязанием к телевизору.

Всё, что происходило в таких передачах, было взято «прямо из жизни», захватывало и даже потрясало, (Вот это да-а. С полным изумлением. Ища по комнате свидетелей.) «Подсев» на такие передачи, Екатерина смотрела их чаще, чем художественные фильмы. (Кино уже казалось пресным. Остроты хотелось, перчику.) И было в такие вечера хорошо и приятно. Ты просто сидишь, смотришь и одновременно вяжешь тёплый шерстяной носок. Ромке или Валерке. Тебя это не касается. Ну изумишься порой совсем уж хайластому бабьему рту – и дальше работаешь спицами. Всё это где-то там, вне тебя, вне твоего времени. А вот то, что Ирина чаще и чаще стала говорить о муже свысока, с пренебрежением – задевало здесь и сейчас. Это уже не ток-шоу в телевизоре. Даже её, свекровь свою, старалась втянуть в такие разговоры. Мол, мы-то с тобой, мама, знаем, какой он. (Недотёпа, смурняк, ботаник.) В такие минуты хотелось прямо спросить, какого же ты чёрта выходила за него!

От таких откровений невестки Екатерина Ивановна начала думать, что всё у холёных дочери и мамы было построено

но на расчёте. С самого начала. Что привечать Валерку они начали после того, как его оставили в институте. На кафедре, аспирантом, преподавать. А дальше и вовсе он в гору пошёл. И все воздыхатели разом были забыты. Тут можно выдержать всё: и прыгающего зайца с сомкнутыми ногами, и даже то, что в загсе заяц серьёзно поцарапал себе щёку. Напорвшись на булавку в фате невесты. Прыгнул не туда. Не так. Не с той стороны. Не унывай, Валера. Всё нормально! Го-орько!

Иногда по ночам Дмитриев чувствовал ещё мужское напряжение. Просыпался даже от него. Сразу виделся маленький Алёшка, поднятый среди ночи в постели, спящий, качающийся. Его фонтанчик из торчащего стручка, по-китайски поющий в подставляемом горшке-резонаторе.

Старик тоже вставал, шёл в туалет. Возвращался и спокойно ложился. Умершую жену свою Надю вспоминал почему-то редко. Интимного с ней не видел во сне никогда. Вместо неё какие-то слоновьи толстые голые женщины гонялись за ним, хотели всегда прибить, но он вовремя просыпался.

Думалось, что у всех стариков так. Всё мужское со временем угасает. И следа не остаётся. Хотя сразу вспоминался старик Колобродов, сосед по даче, с которым копал когда-то общий колодец. Уже в последние годы свои, когда бы они с Надей ни проходили мимо его дачи, старик сразу бросал работу и, забыв даже поздороваться, смотрел на них выкатившимися восторженными глазами. Глазами старого развратника. Он явно был уже не в себе. Однажды он встретил проходящую Надежду, стоя на своем высоком крыльце. Покачал головой и с сожалением показал на свои сиреневые кальсоны с обширной чёрной заплатой в паху: «Отговорила роща золотая, мадам». Его с возмущением утащили в дом дочь и сноха. Долго извинялись перед Надеждой. А та, зайдя на

свой участок и увидев Дмитриева, хохотала как ненормальная. «Где твои сиреневые кальсоны, Сергей? – падала она в доме на стол. – Надень их и выйди за калитку! Заплату я тебе пришью!» Он ничего не понимал. А когда ему разъяснили, удивился: что же тут смешного? – старый больной человек. Которому и осталось-то немного. И как напроорочил – Колобродов через два дня умер. Увидел двух крупных женщин в купальниках, с полотенцами через плечо идущих к речке, увидел и сказал: «Две ж... с ручками идут. Две ж... с ручками-крутилками». Сказал и закачался. И упал в помидорный куст, подавив почти все его помидоры. Дмитриеву пришлось поднимать соседа и тащить в дом. И поразила его тогда ручонка старика. Болтающаяся, маленькая, детская. Надежда уже не смеялась, разом помрачнела. Заставила собраться, набить рюкзаки. И они уехали домой.

Интимная жизнь для Дмитриева никогда не была самоцелью. Навязчивой самоцелью. В угрюмой юности он не томился, не страдал. На проходящих девушек или женщин (с формами) смотрел не с бездумным восторгом, как смотрели всегда сверстники, а внимательно, исследовательски. Как на не совсем понятные науке существа. Даже женившись, жены не домогался. Надежда в первое время смотрела с подозрением. Но оказалось, что ему нужно просто дать команду. Как безотказно работающему роботу. И всё у него сразу начинало мигать, квакать, всё работало нормально. Сделав дело, «робот» спокойно возвращался к своим бумагам на сто-

ле, освещённым лампой. А Надежда с улыбкой смотрела на него из тени дивана с блестящими глазами одалиски.

Когда родился Алёшка, он вообще забыл о ней как о женщине – только и возился с маленьким сыном. Если дома, то не подпускал к ребёнку даже тещу. И так было месяца два или три. Пришлось его заново подключить к сети, дать команду. Он делал своё дело, садился уже не к бумагам, а к орущему сынишке в кроватке, похлопывал его, успокаивал, менял пелёнки, подгузники, а она всё той же вольной одалиской загадочно улыбалась. Сравнительно молодой ещё в ту пору Колобродов не зря в лунные ночи смотрел на покачивающуюся хибарку неподалёку через штакетник – робот супружеские обязанности свои исполнял в те времена хорошо.

Бесчувственный сухарь, Дмитриев по-своему любил жену. Но когда Алёшка вошёл в козлийный возраст и начались его куролесы – первая сигарета, первая бутылка водки, выпитая на троих, первая коллективная драка, в которой ему свернули нос, регулярное попадание с дискотек в милицию, куда его, Дмитриева-отца так же регулярно вызывали и отчитывали люди в фуражках, когда после этого начались скандалы с женой – главной виновницей, попустительницей всех художеств шалопая – Дмитриев просто перебрался из спальни в комнату на второй диван. Напротив кровати с шалопаем. Чтобы воспитывать его даже во сне, круглые сутки. На явное отчуждение некоторых особ, разгуливающих по квартире в халате с распущенным поясом, внимания не обращал.

Сам был всегда прибран. Как голубь.

Потом был Афганистан. А через полгода пришла настоящая беда.

Извещению, где было написано, что сын пропал без вести, Дмитриев не поверил. Он стоял в кабинете военкома, где три офицера не знали куда смотреть, и всё перечитывал листок. Ему налили воды, посадили на стул. Как вышел на улицу – не помнил.

Он не мог идти домой. Не смел. Он стал блуждать по улицам. Он шёл неизвестно куда. Сжав в руке шапку, не чувствуя холода, он подвывал летящей метели. Люди замедляли шаги – навстречу шёл человек с непокрытой головой. С кашей на лице. Из слёз, снега и льда.

Жена ходила по комнате, выла. Дмитриев вставал на пути, неумело обнимал, хотел прижать к себе. Они как будто боролись, дрались. Как дерутся птицы на земле. Как два голубя.

4

Дмитриев стоял на остановке. Автобус не шёл. Толкаемая густым снегом подкатила маршрутка. Поколебавшись, Дмитриев полез внутрь. «Льготный!» – сев впереди, махнул пенсионной книжкой и бросил в коробку мелочь. Как пенсионер, ровно половину стоимости проезда. Бугай за рулём скосил лицо: «Полный плати! Здесь тебе не автобус». Дмитриев молча полез наружу. «Медяки свои забери!» – «Подавись!» – фуганул дверь вправо оплётанный пенсионер. Сразу накрыло летящим снегом. Шёл, клокотал. «Паразиты! (Кто? Автопарк? Власти города?) Полцены вам мало? Так погодите же – я буду ездить бесплатно!»

На другой день поднимался по крыльцу горсовета. К его дубовой двери.

В одной из комнат большого здания открывал Америку. Говорил, что как ветеран с сорокалетним стажем безупречной работы имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Во всех его видах. Включая маршрутное такси.

Молодой начальник, смахивающий на белый колоб теста, отъехал к другому столу. Столу с компьютером. В трубах и патрубках компьютерного стула начальника было что-то от канализации. Изготовленной по спецзаказу. Дмитриев скосил губы: переезжай и ср..., не слезая со стула.

Толкаясь ножками, начальник вернулся за основной стол.

– У вас не хватает, Сергей Петрович... – И он начал искать в бумагах, чего же все-таки не хватает в них для Сергея Петровича. Оказалось, что у дорогого Сергея Петровича прерванный стаж. Прерван был когда-то на целых семь дней. Вот, вы были уволены с работы 13-го января 82-го года и восстановлены на работе 22-го января того же года. Неделя разрыв. Как же так получилось, Сергей Петрович?

Также судорожно и молча, точно вылезал из всё той же маршрутки, Дмитриев начал собирать документы со стола. Система оказалась непрошибаемой. И на низовом шкурном уровне, и на прикрывающем административном.

Начальник прямо-таки страдал, мял белые женские ручки:

– Вам нужно добиться нового вкладыша в трудовую книжку, где всё это будет исправлено. Вашим месткомом, дирекцией техникума.

Не видел встречных людей, не слышал гудящей улицы.

Идти в теперешний техникум и добиваться каких-то исправлений в трудовой? Бессмысленно и просто глупо. Сам горяча когда-то кинул заявление на стол. Тогдашнего директора Петранюка давно нет в живых. Многих сослуживцев того времени – тоже. Не Коновалов же, который и выдал из техникума, будет всё это рассматривать и исправлять. И вообще дурацким этим походом в горсовет разбередил только давнее, больное.

В январе 82-го, когда в военкомат пришло извещение о пропавшем без вести сыне, Дмитриевы получили вскоре письмо из Ташкента. Из военного госпиталя. Писал Олег Баев. Сослуживец, товарищ Алексея. В сумбурном письме мало что было понятно об исчезновении рядового Дмитриева. Где-то под Кабулом. Парень перескакивал с пятого на десятое. Походило, попал в госпиталь с контузией или ранением головы. Дмитриев сразу решил – ехать. Ехать в Ташкент. Петранюк встал на дыбы: «Ты что, – с ума сошёл? Сессия! Самый разгар сессии!» Тогда Дмитриев вышел, пометался по приёмной, написал заявление, вернулся в кабинет и хлопнул его об стол: «По собственному желанию, Георгий Павлович!» Петранюк побагровел, схватил ручку, размашисто подписал: «В отдел кадров. Уволить. По 77ой. Петранюк». Скатертью дорога, уважаемый! И уже вечером, бросив дома плачущую жену, Дмитриев трясся в поезде.

В большой вестибюль ташкентского военного госпиталя к нему из палаты прискакал на костылях парень с перевязанной головой, без ноги по колено. Присел на холодный полированный камень подоконника, сразу начал как-то привычно рассказывать, как будто интервью давать. Махал руками в азиатском сонном солнце в окне. Оказалось, что Алёша пропал ещё летом, в начале августа. В увольнении трое солдат болтались по большому базару в пригороде Кабула. Перед этим их часть вывели из боёв в Баграмском ущелье на пополнение и передышку. «Таскаемся по базару, глазеем. К

жаровням, к вкусной еде не подходим. Запрещено. Могут отравить. Поэтому мы всё больше по лавкам с товарами. А они там – сплошняком, налезают друг на дружку. Зашли в одну. Красивые ковры, метровые афганские кувшины из меди. Алёшка где-то сзади замешкался, отстал. Вышли наружу – нет его. Кинулись по лавкам, где уже были – пропал. В часть побежали. На машине примчались обратно – целой ротой прошерстили базар: ни следа. Местные – «на, на, шурави!». Дескать, «нет, нет, шурави, не знаем, не видели!» Помогают искать. Или сами убили-спрятали, или духи оглушили, утащили с собой». Олег Баев достал из коричневого кармана пижамы наручные часы без ремешка: «Вот, Алёша оставил в палатке. Потому что стали». У Дмитриева сжалось сердце – часы были подарены сыну на окончание школы. От слёз Дмитриев не мог прочесть гравировку на задней крышке. «Ну-ну, Сергей Петрович, крепитесь. Может быть, жив Алёша. Где-нибудь в Пакистане сейчас. В тюрьме. Туда их духи вывозят. Потом выкуп требуют». Парень встал на прыгливую ногу, обнял отца друга. Похлопывал: «Ну-ну, Сергей Петрович». Даже с одной ногой Баев был заряжен оптимизмом. После Афгана он вернётся домой живым.

Уже в 90е Дмитриев с нанятым адвокатом Корсаковым подавал на розыск сына в международный «Красный крест». После других подобных организаций очень надеясь на него. Но – тоже нет. Ничего. Или сразу погиб сын на том афганском базаре, или потом замучили.

Дмитриев тяжело, как глубокий старик, поднимался по лестнице к своей квартире. Улыбнулся, вспомнив, что Алёшка школьником всегда по лестнице скатывался. С топотком, с припляской. Вот и сейчас сверху катился такой. Дмитриев нарочно начал клацать своими ботинками. Как железный грозный воин из компьютерной игры. Мальчишка в пальто и шапке не испугался. Пропрыгал мимо. Со ступеньки на ступеньку. Сосредоточенный, с раскинутыми ручонками. Правой-левой, правой-левой. Только рюкзачок на спине болтался. Расшибётся ведь, чертёнок! Дмитриев дождался удара подъездной двери. Достал ключи.

Устало сидел в прихожей. В пальто, с шапкой в руках. Смотрел в комнату. В работающий телевизор. Опять хайлали скандалистки с блядскими ртами. Ведущий метался, умирал. По новой моде в брючках в обтяжку. Фасон – стрельба по воробьям.

Прямо в шипастых своих ботинках Дмитриев прошёл. С гадливостью убил всех пультом. Зрелище для Городской. Любит такие передачи. Однажды сразу выключила, как только вышел из кухни. Как пойманная на нехорошем. Знает кошка, чье сало съела. Ххы.

Дмитриев снял наконец ботинки. Линолеум в прихожей давно превратился в коврик. Сотканый без всяких ткацких станков. По новой технологии. Не забыть бы запатентовать. Успеть раньше других. Юморной старик.

Возле вентиляционного окошка в фундаменте Екатерина Ивановна кормила кота. Заприметила она его ещё летом. Назвала – Феликсом. Но если анимационный Феликс в телевизоре перед тем, как есть свой китикет, всегда расплывался в улыбках до ушей, – этот походил на стриженного уголовника. Притом уголовника трусливого, необщительного. При виде соперника, какого-нибудь драного лохмача – бежал и проваливался под дом. Но и там его гоняли коты. «Сажали на парашу». В разные дни на «кис-кис» он высовывался то из одного окошка подвала, то из другого. Далеко отнесённого от первого. И бежал к Екатерине Ивановне. Как к спасительнице. У него был феноменальный слух и такой же нюх. Однажды он подбежал к Ромке, который шёл один, и начал выписывать меж ног его пируэты. Он учуял на его одежде запах Екатерины Ивановны! Мальчишка ничего не мог понять, оглядывался, спотыкался.

В сильный мороз, глядя как Феликс жадно поедает принесённую варёную сосиску, сказал, что ему лучше будет жить у них, в квартире. Екатерина Ивановна заколебалась. Может, и правда отмыть его, вывести паразитов, и пусть живёт у них. Как говорится, в тепле и сытости. Попыталась взять кота, но тот, на удивление, начал биться в руках, вырвался, чесанул к своему окну. И исчез. Будто разом порвал все отношения.

Бодро проходящая старуха в спортивном трико с лыжными палками разъяснила на ходу, что уличный взрослый кот никогда не будет жить в доме. На за какие коврижки. Вот так! – посмотрели друг на дружку бабушка и внук.

Ещё при Ромке от регулярной кормёжки (приносили еду каждый день) кот стал будто беременным. Как мелкоголовый гепард – длиннопузым. Но храбрости это ему не прибавило – при виде лохматого бандита бросал чашку, скрывался под домом. Котяра с длинной шерстью, больше смахивающий на яка, чем на кота, ел отвоёванное. Не обращал внимания на бабушку и внука в шаге от себя. Удивлённый Ромка даже пятался от него, наглого, говорил, что Феликс бы не поступил так, не отбирал бы у других еду. «Это уж точно! – смеялась Екатерина Ивановна. – Его бы самого съели, прежде чем он успел кого-нибудь пригласить к чашке».

Из целлофанового мешочка Екатерина Ивановна вытряхнула в алюминиевую чашку творог, полила сливками из баночки. Феликс приступил. Шкурка на животном ходила волнами. Вроде меха на дохе.

По довольно глубокому снегу Городскова выбралась на бугристый тротуар, потоптала ногами, стряхивая снег, и бодро пошла в сторону поликлиники. Слева в низине распластался белый школьный стадион. Справа, где остался Феликс, в освещённых утренних классах самой школы сидели сонные ученики, разгуливали учителя с указками, с размеренными громкими, всё знающими голосами из парящих

форточек; в школьной кухне с краю здания ворочали баки очень сильные две поварихи с засученными рукавами.

Никак не могла привыкнуть к зданию на пригорке, где работала уже полтора года. Трёхэтажное плоское здание с мелкими окошками (бойницами) походило на что угодно, только не на поликлинику – на гробницу, на неприступную крепость, на усечённый зиккурат из учебника истории.

Очистила подошвы сапог о ребристое железо на крыльце, открыла внутрь стеклянную дверь.

Суббота. Больные как вымерли. Коридор почти пуст – бюллетени в субботу не дают и не продлевают. Без толку приходить и перед врачом «болеть». Старики ещё спят. Одна Пивоварова у процедурной. Тяжело дышит. Расплылась вся на диванчике, схватившись за край его. «Что-то плохо мне, доча». Глаза старухи блуждают, явно уходят. «Сейчас, сейчас, Анна Ефимовна».

Не переодевшись, сбросив в предбаннике только пальто, Городскова провела старуху в кабинет, посадила на лежак. Быстро готовила укол. Повернулась. Но старуха вдруг повалилась вперед. Прямо под ноги медсестре с уколом. И застыла на боку.

Екатерина упала на колени, перевернула старуху на спину, рванула кофту, приложилась к груди.

Сильно ударила кулаком по груди. И начала толкать грудь.

Падала, прикладывалась ко рту, с силой вдыхала. Снова

толкала грудь.

Невропатолога Толоконникова от удивления как-то приподняло в дверях – какая-то плотная женщина в шапке, в зимних сапогах прямо на полу делала массаж сердца другой, лежащей в такой же шапке и зимних сапогах.

– Чего вылупился! – обернулось налившееся кровью лицо: – Адреналин! На столе!

Невропатолог бросился к столу медсестры, начал искать. Трясущимися руками набирал в шприц.

– Быстрей!

Подбежал, протянул шприц. Городскова сдвинула вверх жидкую грудь: «Дёржите!» Толоконников схватился. Найдя точку меж рёбер, хирургическая сестра ввела длинную иглу в сердце. Вдавила лекарство. Снова начала толкать грудь.

Веки старухи дрогнули, глаза открылись. Старуха вернулась с того света. Задышала.

Потом приехавшие врачи реанимационной скорой обкалывали её на полу дополнительно. С полу санитары загрузили тяжёлое тело на сложенную каталку, подняли Пивоварову высоко, повезли. Повезли к раздевалке, чтобы накинуть на неё пальто. Потом к машине, чтобы везти в дежурную больницу. Сегодня в Третью. Старуху увезли бледной, с закрытыми глазами, но живой.

Екатерина Ивановна опустошённо сидела у своего стола. Была она уже без зимней шапки, в белом халате, только в забытых сапогах.

Взад-вперёд ходил Толоконников. Почему-то с оторванным левым карманом халата. В который он так любил закладывать левую руку. Он как будто только что поучаствовал в драке. «Даже эпилептический припадок не так страшен, Екатерина Ивановна! – уверял он не столько Городскову, сколько себя. – Даже припадок! Когда человек бьётся перед тобой на полу, и ты не знаешь, что с ним делать. Даже припадок!» Вытирал пот с рыжей лысоватой головы.

В утреннем коридоре поликлиники было по-прежнему пусто. Только к процедурному кабинету подтянулись старик и старуха. Они только что пришли. По-видимому, муж и жена. Сели тесно рядом. Они не знали, что произошло в поликлинике всего полчаса назад. В коридоре всё было спокойно. Всё было как всегда – снопы солнца дымились у дальнего окна. Два черных фикуса зависли неподалёку. Старики тоже были спокойны. Они просто ждали, когда их позовут на уколы. Старик был худ, вислокож. Старуха – без шеи. Как бомба.

Глава четвёртая

1

В детстве Серёжу Дмитриева упорно приучали к гобой. Звук гнусавого духового инструмента он слушал с пелёнок. Ежедневно, перед тем как идти в театр на репетицию, папа дома дул «длинные ноты». Он ходил по комнате и выдувал одну такую ноту. Похожую на пронзающую воздушную тревогу. На занудливейшую зубную боль. Совсем маленького Серёжу это пугало, он отчаянно ревел, позже – привык.

Папа играл первый гобой в Башкирском Государственном Оперном Театре. «По моему гобой, сынок, настраивается весь оркестр. Мой гобой самый главный инструмент в оркестре». Он поднимал длинную черную трубку в белых клапанах на уровень глаз, закладывал трость в рот и дул свою длинную ноту. Когда нота совсем затихала, говорил: «Длинные ноты, сынок, укрепляют губы, развивают дыхание». Он снова закладывал трость в рот и дул вторую свою длинную ноту.

Мама Серёжи тоже работала в театре. Она была там костюмером. Одевала разных тёть в старинные пышные платья, чтобы тёти стали ещё толще, пышнее. Серёжа нередко находился при таких одеваниях. Когда его некуда было девать.

Он привычно тарыхтел, возил машинку по полу. Объезжал недвижные пышные платья (с тётями), вокруг которых ползала и мама. С иголкой и ниткой. Папа в оркестр под сцену с собой не брал. «Запрещено, сынок», – говорил он. – Шавкатом Нургалиевичем». Шавкат Нургалиевич был Главный Дирижёр. Главнее папы. С ним не побалуешь. У него была грива на голове и брови вразлёт. Размером с мечи. «Привет, дитя театра!» – проходя, говорил он и дружески трепал. Да так, что приходилось потом накидывать слетевшие лямки от штанишек. Как после удара урагана.

Зато папа был главнее Шавката Нургалиевича, когда оркестр настраивался под папин гобой. Папа давал свою длинную ноту – и все начинали пилить смычками и дуть в разные тромбоны. И Шавкату Нургалиевичу приходилось терпеть. Сидеть и ждать за пультом. (Видел это много раз. С балкона. На правой стороне. Куда всегда пускала тетя Галя, Главная Уборщица Театра.) Правда, потом он начинал махать всем палкой, как бы грозить. Но это уже неважно. Папа был доволен – он дал сегодня свою главную ноту. Играл себе дальше. Как будто один.

После балкона можно поиграть, повозить машинку в коридоре. А ещё лучше в высоком пустом зале на втором этаже, Там стоят древнегреческие Венеры и Апполоны. По паркету машинка летит далеко. Можно перебежать и снова толкнуть. Уже в другую сторону.

Тётя Галя всегда проходила с тряпкой на палке. Как сол-

дат с ружьём на плече.

– Ну-ка идём, я тебя покормлю.

В комнатке у тёти Гали окон нет вообще. Зато на стенах балерины. Очень красивые, с тонкими ногами. Много их там всяких. Есть певцы. Очень важные. Даже весь оркестр стоит на одной из афиш. Впереди на стуле, будто строгий отец всем, сидит сам Шавкат Нургалиевич. Папа в заднем ряду. Высоко. Гораздо выше Шавката Нургалиевича. Папа улыбается. Он держит в кулаке свой гобой. Как будто простую легкую трубочку.

Потом приходила мама и всегда спрашивала: «Руки помыл?» Её успокаивали, кивали на кран над ржавой раковиной. Который всегда капал. Тогда мама тоже подсаживалась к маленькому столику, ела. Борщ или кашу. Разговаривала с тётей Галей. Они готовили поочерёдно. Тайком от Ермилова (Главного Пожарника Театра). На плитке в углу. У мамы был ненормированный рабочий день. Она находилась в театре утром, днём и даже вечером. Во время спектаклей. А папа был «как барин» (слова мамы) – после утренних репетиций отправлялся с сыном домой. До вчера. До спектакля. Где сам играл в оркестре, жена переодевала по несколько раз толстух-певиц, а сынишка стойко торчал почти весь спектакль на балконе. Пока не падал там и не засыпал. Прямо в кресле.

Шести лет Серёжа сам стал артистом в одном спектакле. Мама надела ему белое обтягивающее трико и чёрные ту-

фельки. Потом поверх трико штанишки в виде двух тыковок, а на голову – островерхую шляпку. И он бегал по сцене, изображал всякие игры с такими же мальчишками и девчонками. Декорации воссоздавали площадь средневекового города, где два тучных монтекки и капuletти сидели в тыквах, смотрели на игры молодёжи и вели неторопливую беседу.

Серёжа старался пуще всех. Под быструю музыку бегал, метался, ловил девчонок, кричал «поймал! поймал!» Вдруг схватил у кого-то палку и пошёл скакать на ней как на коне и кричать: «Ура! ура! Все за мной!» – «Не кричи, дурачок, – поймав, сказал ему на ухо какой-то дяденька в тыквах и с алебардой. – Это балет». И под смех зала, ласково поддал ему под тыквы. И Серёжа опять поскакал на своей палке. И опять закричал «ура». И дяденьки с алебардами снова его ловили. Весёлый был спектакль.

Во второй раз Серёжу на сцену не пустили. Хотя мама и надела ему белое трико и вздутые штанишки. А Шавкат Нургалиевич при случайных встречах, чувствительно потрепав, всегда теперь говорил: «Смотри у меня! Артист театра. В балете – ни звука!»

С папой и мамой Серёжа жил в Общежитии Башкирского Оперного Театра. Так было написано всегда на стеклянной отблескивающей табличке у входа. А Общежитие находилось на улице Тукаева. Всего в двух кварталах от Башкирского Оперного Театра.

Иногда папа и мама оставляли его в комнате Общежития

одного. Тогда после обеда с учебниками и тетрадками обязательно приходила Верка, дочь тётки Гали, живущая в комнате напротив. Через коридор. У Верки была круглая голова, похожая на ядро Мюнхгаузена с висящими косичками.

Сперва почему-то царапались. Обязательный ритуал. Потом преспокойно садились за стол и занимались каждый своим делом. Серёжа раскрашивал карандашами раскраску, а Верка в раздумье грызла ручку. «К 25и прибавить 49». Поглядывала на Серёжу. Серёжа хмуро говорил: «74». Иногда специально давал неверный ответ. Тогда приходилось вставать и опять царапаться-драться. А после снова садиться к раскраске.

Вечером первой приходила тетя Галя: «Ну, как вы тут? Не ссорились?» – «Нет, мама! Что ты!» – говорила Мюнхгаузен с висящими косичками. – Мы решали примеры, а потом играли».

Мама и папа Серёжи приходили гораздо позже, когда он уже спал...

Иногда старческие засыпающие глаза видят очень далёкого мальчишку. Мальчишку из другой жизни. Мальчишка скачет по сцене на палке-коняшке, кричит на весь театр «ура», а в оркестровой яме приседает, осаживает его, машет рукой дирижёр: «Молчи, дурак! Уши надеру!»

2

К банкомату на Ленина Дмитриев всегда шёл ближним путём, дворами. Мимо тридцатой школы. Весной, перед Первомаем или праздником Победы, здесь всегда можно было увидеть тренировочные парадики старшеклассников в пилотках. И девчонок, и мальчишек. Вперемешку. Целый класс маршировал палочными ногами. И всегда – под команды то одного, то другого командира из своей же среды. Как-нибудь девчонка, пробуя власть на вкус, тонко кричала. «Раз-два! Левой! Левой! Раз-два! Левой! Левой!.. Класс... напра... во!» И все уже шагают к железной оградке цветника. Казалось, сейчас снесут её! Но новая команда девчонки – и класс уже режет вдоль оградки. «Класс, запевай!» И все, как поют только шагая в строю, безобразно, фальшиво пели, ударяя ботинками: «Не плачь, девчонка! левой-левой! пройдут дожди! левой-левой! солдат вернётся! левой-левой! ты только жди!»

Дмитриев забывал про желчь, сразу подтягивался. Слегка подкинув себя, брал ногу, шагал вместе с девчонкой и её орущим строем. Он хорошо помнил армию.

Сейчас возле школы было пусто. Школьный стадион слева был в снегу. Двухэтажное здание с широкими окнами стояло немым, беззвучным – за сизыми зимними стеклами понуро сидели поголовья учащихся и самодовольно разгуливали

учителя с книжками и указками.

Вдруг увидел Городскову. Прямо под одним из окон школы. Женщина в песцовой шапке и в расстёгнутом пальто кормила какую-то кошку.

Дмитриев чуть не на цыпочках прошёл мимо. Словно напорвшись на непозволительное, интимное. Однако верный своему «ххы», обернулся: уже кормит бездомных кошек. Как старуха. Х-хы. Наверняка крошит хлеб голубям. Возле мусорных баков. Х-хы!

Забыть такое желчный старик не мог. Почему-то задело увиденное. И даже словно обидело. Как будто потерял доверие к человеку, ошибся в нём. Поэтому как только Городскова заявилась опять с продуктами (тоже кормить! его! как кота!), задал вопрос. Едва та сняла пальто:

– Вы любите домашних животных? (При этом смотрел в сторону. Мол, мы сейчас послушаем.) В частности кошек, котов?

– Да в общем-то не очень, – удивилась Городскова, вешая шапку.

– А я вас видел вчера. Возле тридцатой школы. Вы кормили кошку. Судя по всему, бездомную.

Следователь уже припирал к стенке.

– Ах вот оно что! – рассмеялась Екатерина Ивановна. – Что же в этом плохого?

– Да как что! Как что! Там же дети! А вы привечаете бездомных кошек! Возле школьного учреждения!

Прямо инспектор гороно. Представитель санэпидемстанции с насосом и в маске.

Городскова растерянно улыбалась: неужели всерьёз сказал? Заговорила, наконец, сама. Всё больше и больше ожесточаясь:

– Вас удивила я. С кошкой возле школы. А вас не удивляет, что дети этой школы не отличаются особой любовью к животным? Могут запустить в этого кота палкой, камнем, девчонки могут подойти, сфотографировать мобильником «миленькую кошечку», присесть даже рядом, опять же как для селфи. А покормить, – ни один. Это вы считаете нормальным?

Хотела снова одеться и уйти, но Дмитриев сразу стал многословно извиняться, удерживал, не давал пальто.

Осталась.

Дулась и на кухне, выкладывая продукты.

Однако за чаем, уже примирительно просвещала старика. как бывалая кошатница, а заодно и собачница:

– Бездомные собаки всегда передвигаются, Сергей Петрович. По городу. Ищут еду по помойкам, по свалкам. Они как-то не так заметны. Бездомная кошка обитает в одном месте, чаще под домом, редко уходит в другие дворы. В мороз ли, в жару она сидит на виду. Возле тропы, где идут люди. Она вроде безразлична к ним, но ждёт. Или, как мой Феликс-трус, выглядывает из окошка. Чтобы, увидев свою кормилицу, побежать к ней и сопровождать до чашки, куда ему

будет вывалена еда.

Желчный, Дмитриев и людей-то уже не любил, а тут про каких-то собак, кошек, Хмурился. Вынужден был слушать. Остатки вежливости. Обложили. Блокада.

– Смотрите, Сергей Петрович, какая красота, – сделал глоток, удовлетворённо сказала Екатерина Ивановна.

В телевизоре, будто по её заказу, засыпало тёплое африканское озеро. Как зевота его, изредка вспыхивали красные костры из фламинго. Плоское африканское деревце вдали подпирало чистый зёв заката.

Когда Городскова ушла, ходил по квартире, ни к чему не мог привязать руки. Злился. На упрямую женщину. Мало того, что продукты приносит, так ещё урок преподавала. Любви к животным. А заодно и к африканской природе.

Сел в кресло. Переключил канал. Надеюсь посмотреть познавательную программу «Чёрные дыры. Белые пятна». Вместо «чёрных дыр» на стуле перед молодым собеседником сидела старейшая музейная работница. Сидела, собственно говоря, опрятная старость. На женщине с иголки жакет и юбка. На лацкане жакета – цветок размером с подсолнух. Полноватые ноги в прозрачных чулках. Составлены не без кокетства – набок. Единственный не скрытый признак (атрибут) старости – шея. В больших змеиных узлах. А так – свежие живые глаза, умеренность морщин. Синеватая благородная седина, пронизывающая взбитую прическу.

Дмитриев хмурился, ничего не мог сказать плохого про

старейшую музейную работницу. Всё было в передаче правильным, полезным. В теперешней перевёрнутой идиотской жизни – возвращено, поставлено на ноги. Не то что у этой Городской. С её котами. Кормит. Назло всем. Да ещё стыдит.

3

Когда Серёже было восемь лет, папа привёл однажды в комнату невысокую собаку. Точно после спектакля отыскал её где-то в ночном театре. Радостная, собака непрерывно виляла хвостом, знакомясь с новым своим жилищем. Серёжа замер за столом с тетрадкой и ручкой, чувствуя, как обнюхивают его ноги. Мама начала возмущаться таким безрассудством папы. Тогда папа, смеясь, рассказал, что эта собака сопровождает его до общежития уже три вечера подряд. Прямо как верная его поклонница. Мама поразилась такой преданности таланту папы, сразу начала готовить подстилку собаке, складывая для этого старое Серёжино одеялко в несколько раз. Спросила у папы, как её называть. И папа, чуть подумав, уверенно сказал – Ночкой. Я её встретил ночью, да и чёрная почти вся, значит – Ночка. Кличка маме понравилась, Серёже – не очень. Разве может собака быть ночкой? Ночка – это же время суток? Получается, что ночка на улице, в окне, стала у них в комнате Ночкой. Вон она, чёрненькая, на полу. После того, как покормили, легла на подстилку. Успокоенно положила на лапы морду. Как будто всегда тут жила.

Теперь по утрам, когда папа дул свою длинную ноту, ему всегда подпевала Ночка. Она садилась на хвост, закрывала глаза и выводила ноты гораздо выше, чем у папы, гораздо музыкальней. Папа не обижался, что у Ночки ноты получа-

лись певучей, гладил преданную головку.

С гобоем в утеплённом зимнем футляре папа шёл на работу в театр. Ночка, сопровождая его, бежала рядом. Как только папа исчезал за дверьми служебного входа, бежала обратно, так же часто перебирая лапками. Возле общежития – ждала. Когда кто-нибудь выйдет или зайдёт внутрь. Проскользнув меж чьих-нибудь ног, стремилась на второй этаж. Вахтёра в общежитии не было, никто Ночке не мешал.

В дверь – царапалась. Серёжа открывал. Ночка забегала и сразу ложилась на подстилку, клала морду на лапы. И словно не видела больше ничего и никого. Даже осторожного мальчишку рядом. Ждала вечера, чтобы побежать к театру и встретить хозяина.

Приходила тети Галина Верка. Со своими учебниками и тетрадками. Она училась уже в третьем классе, а была всё такой же душой.

На подстилке Ночка начинала рычать. На попытку детей поцарапаться – вскакивала и лаяла. А однажды неуёмную Верку цапнула за ногу. Серёжу, правда, никогда не трогала. Тот пытался подлизываться. Осторожно подкладывал к носу собаки конфету. Шоколадную. Лежащая голова так и оставалась лежать недвижно. Железная, вообще-то, Ночка. Хотя еду, оставляемую ей папой или мамой, когда вываливал в чашку, ела всегда. И даже мотала головой. Как бы говорила: спасибо, Серёжа. Ты хороший друг.

Ночка была очень самостоятельной. Иногда убегала на

день или два. Забывая даже папу. Папа беспокоился. После работы ходил по комнате и предполагал, где она может быть. Где её искать. Недовольная мама говорила: «Хватит ходить! Ложись!» Выключала свет. Тогда папа подходил и смотрел на ночное небо за окном. Словно искал Ночку там. В звёздной ночи.

Ночка возвращалась.

Мама говорила, что собака очень вольная. Бегает, наверное, по помойкам. Принесёт заразу или щенят. Сережа не понял про щенят, переспросил. Тогда папа стал хохотать. «Не принесёт!» А мама так и не объяснила, в чём тут дело.

А потом Ночка пропала. Не прибежала ни через день, ни через два.

Фаготист дядя Боря с первого этажа пришёл и сказал, что видел Ночку на рынке. Её поймали собачники. Увезли вместе с другими собаками в большой клетке. На грузовике. Папа сразу оделся и поехал в какой-то «горкомхоз». Там ругался, доказывал. Но ему ответили, что собака была без ошейника, значит, бездомная, и «нечего теперь рыпаться». Так папе сказал какой-то Главный Хмырь.

В тот день папа пришёл домой с дядей Борей. И оба они были пьяные. Как говорила потом мама, «лыка не вязали». Они стукались рюмками, плеща водку на скатерть. Папа плакал. Его ноздри дышали будто сопла маленькой ракеты Циолковского. Дядя Боря папу утешал. У дяди Бори шмыгающий нос был больше, чем у папы. Свисал. Как киль-груз

от детского планера.

Утром папа на репетицию не пошел, не смог. А дядя Боря на репетиции был. Но толку от него не было никакого – с фаготом наперевес он только нырял в разные стороны и ничего из нот на пульте перед ним не сыграл.

Шавкат Нургалиевич гневно кричал: «Уволить! Обоих!»

Было даже собрание. И профсоюз, как сказала мама, отстоял. И папу, и дядю Борю.

После прощения за прогул папа воспрянул. В перерывах репетиций он дополнительно «работал над партией». В пустом гулком зале на втором этаже. Где стояли в нишах Апполоны и Венеры. Папа ходил, высоко подняв инструмент и локти, выдувал и выдувал трудные пассажи, чтобы довести их до совершенства.

Дядя Боря тоже играл. Он стоял на середине зала с фаготом наискось и словно давал воинскую присягу музыке.

Однако Шавкат Нургалиевич всё равно сердился на них. Дирижируя после перерыва оркестром, говорил: «А теперь всем «пиано». Пусть вступят наши два алкоголика».

Ночку Серёжа помнил долго. Потом забыл.

Среди людей на остановке длинный парень и маленькая девица влипли друг в дружку. Казалось, стояли так вечно. Он в лохматой курточонке по пояс и шапке, она – в длинном чёрном пальто. Прямо весь мир должен видеть их любовь! Х-хы.

Какой-то мужичок с весёлыми глазами, проходя мимо идущего Дмитриева, успел сказать: – «Ведь убери людей во-круг – не будут так стоять! На сто процентов! Не будут знать, что делать! Хи-хи-хи!» – Единомышленник.

Дмитриев шёл к Екатерине. С цветами. Завёрнутыми в газету. Сегодня 8 Марта. Но дело не в этом. Возможно, сегодня удастся увидеть Рому. По скайпу. Которого у него, Дмитриева, нет.

Глаза Екатерины Ивановны сделались вертикальными, когда она увидела Дмитриева с цветами. Просто не поверила себе.

– С праздником вас, Екатерина Ивановна! – четко сказал старик и протянул цветы. Освобождённые от газеты.

– Да что же через порог! – засуетилась Городскова. – Проходите, пожалуйста. – Пятилась и словно освобождала дорогу чётко входящему солдату с цветами в кулаке.

Закрыла дверь.

– Раздевайтесь, Сергей Петрович. Я – сейчас

В халате, юркнула в спальню.

Повесил пальто и шапку. С цветами, так и не вручёнными, прошёл в комнату. Стал ждать, не решаясь сесть к столу. Поглядывал на терем часов, на семейные фотографии на стене, где, как сердитый божок, в центре висел Рома. Хотел подойти поближе, получше разглядеть фотографии в рамках, но появилась хозяйка.

– Извините, Сергей Петрович. Очень рада, что вы пришли. – Екатерина стелила свежую скатерть на стол. Была она уже в прозрачной, бензиновой какой-то кофте и чёрной юбке. Дмитриев уводил глаза от лежащей на стол женщины, от её натягивающейся на крутых бёдрах юбки.

Поймав момент, вручил всё же цветы: «Это вам, Екатерина Ивановна». Женщина, точно только что увидев их, преувеличенно обрадовалась, поблагодарила. Дмитриев скашивал улыбку. Смотрел мимо всего. Пусть. Если приятно.

Сидел и с удивлением смотрел на тарелки и тарелочки со всякой едой. Окружившие его со всех сторон. Оккупация. Когда она успела всё это приготовить? Видимо, ждёт гостей. Или гостя. Мужчину. (Не его же, в самом деле!) Появилась и бутылка вина. Уже открытая. Ну а раз он единственный пока мужчина за этим столом, придётся ему и налить из неё в бокалы.

Налил. Поднял свой – как прицелился в женщину:

– Здоровья вам, Екатерина Ивановна! (Избитый тост. Но ничего больше в голову не пришло.).

Однако Городскова опять преувеличенно благодарила. Накладывала гостю с разных тарелок, пододвигала. Много говорила. Старик безотчётно ел, кивал, а сам незаметно косился на аквариумную картинку ноутбука. Раскрытого возле дивана. На тумбочке.

– Как работает ноутбук? – не выдержав, спросил. Будто мастер. Пришедший на халтуру.

Городскова купила ноутбук месяц назад, свой старый ПК бросив в Сургуте при разводе (просто выдернула память, а всё железо отнесла на помойку), поэтому сказала, что ноутбук в порядке, ещё на гарантии.

Невольно оба теперь смотрели на прозрачную картинку, которая, казалось, дрожала в воздухе, ожидали сигнала скайпа.

И скайп обнаружил себя – забулькал. Захлопал.

Екатерина Ивановна бросилась, перенесла хлюпающий агрегат на стол. Сев, взбодрила кофту, причёску – всё! красивая! – включила скайп, оборвав сигнал. И сразу закричала:

– Здравствуй, Рома! Здравствуй, мой родной! И тебя с праздником весны! Маму поздравил? Молодец! Давай, рассказывай, что нового у вас.

Кроме чёрной лакированной крышки, Дмитриев ничего не видел. Слышал только за ней голос Ромы, доносящиеся будто из подземелья. Непроизвольно, как гусак, тянул голову, словно стремясь заглянуть за крышку. Понял из разговора, что Рома сейчас дома один, что родители ушли в гости и

поговорят с бабушкой вечером. Это хорошо, очень хорошо, значит, не помешают.

Наконец Екатерина Ивановна сказала:

– А теперь, Рома, для тебя сюрприз. С тобой хочет поговорить Сергей Петрович. – Повернула ноутбук экраном к Дмитриеву: пожалуйста на сцену, Сергей Петрович.

Дмитриев приготовленно скосил улыбку. Однако увидев незнаваемого, похудевшего мальчишку – в растерянности замер. Мальчишка, поздоровавшись с ним, спрашивал, как дела, а он никак не мог начать говорить. Кричал потом, как Екатерина Ивановна, лез в ноутбук, думая, что так его в нём будет лучше видно и слышно. Наконец, немного успокоившись, вернулся на стул, и Рома показывал ему завоёванные грамоты и дипломы, поднося их близко к экрану, чтобы он смог прочесть. Раскрыл и показал шахматную доску с красивыми фигурами, будто облитыми молоком – приз от последнего турнира. Пояснял: «Шахматы сделаны на Чукотке, вырезаны из моржовой кости, местным умельцем, чукчей, по имени Аляпэнрын, по фамилии Иванов». У Дмитриева сжимало горло, он чувствовал, что сейчас заплачет. Кое-как закончил разговор с мальчишкой и распрощался.

– Извините, Екатерина Ивановна, – вытирал глаза. – Сентиментален стал с годами.

Городскова улыбнулась. Радовало и одновременно печалило, что старик так привязался к мальчишке.

Стала собирать всё для чая, но Дмитриев сразу поднялся

и вскоре ушёл.

Одна пила чай. Смотрела на фотографии на стене. Дмитриева, наверное, заинтересовали бы две из них. На первой – Ромка сидит на стуле. Он, как всегда, серьёзен. С двух сторон к нему приклонились родители. Удерживают его за плечи как своё творенье. (Фотография не простая – художественная. Снялись в ателье. В прошлом году.) Все трое смотрят прямо в объектив. Отец Ромки, с белой, будто забинтованной лысиной, косо улыбается, мать не без кокетства выглядывает из висящих своих кудрей.

Другой снимок отправил бы Дмитриева лет на сорок назад. На нём уже она сама, Городскова, в возрасте внука Ромы. Девяти-десяти лет. Зовут её на нём Катюшкой, и вместе со старшей сестрой Галиной она стоит возле папы и мамы, которые очень прямо сидят на стульях, как бы говоря: мы в ответе за своих детей. На ладно сбитой девчонке с крепкими ножками – белая кофточка и юбка из шотландки. Казалось, она одна смотрит на зрителя. Потому что широко улыбается. Остальные очень серьёзны, ответственные. Даже сестра Галя.

Глава пятая

1

Посёлок назывался – «Цементный завод». Или короче – «Цемзавод». Считался посёлком городского типа. Хотя и не уполз от деревни Выдриха далеко. Всего на каких-то полста метров.

Вдоль дороги, торцами к ней – ряды старых деревянных барачков с белыми парусами из развешенных простыней. Через дорогу под такими же парусами плыли ещё пять домов. Тоже в два этажа, но тяжёлые, кирпичные, крашенные когда-то в жёлтый цвет.

Городсковы жили в кирпичном. Из окна второго этажа хорошо видно было волнами скатывающееся поле и взблёскивающую за ним речку с кустарниками и песчаными проплешинами.

Плотненькая Катюшка всегда летела в воду бомбочкой, в воздухе перебирая ножками. Плавала свободно. Нырляла к осолнеченному дну, по-лягушачьи всякий раз дрыгнув над водой ногами.

Приехавшая на каникулы сестра Галина в воду не стремилась. Лежала на одеяле, подняв колени. Сберегая красивый импортный купальник, который ей дала на лето подруга,

смотрела в небо.

С полотенцем подходила к воде. Незагорелой белой ногой трогала её. Определяя температуру. Говорила сестре:

– Ну хватит. Выходи. Пора домой.

– Неужели не искупаешься из-за своего купальника? – врубала сажёнки малолетка, и не думая выходить на берег.

Галина оглаживала шикарный черный купальник с плотными чашками, на которых было красивое шитьё. Потом смотрела по сторонам – вроде бы никого. Лезла в кустарник у самой воды. Там купальник снимала. Аккуратно клала его на ветки. Только после этого бежала в речку. Плюхалась и плыла, выбеливаясь ягодицами и спиной.

Обратно выбегала, зажав груди. Лезла в кусты, чтобы поскорей вытереться и надеть купальник. И уж после этого идти спокойно домой. Мимо футбольного поля возле посёлка. Мимо бегающих с мячом парней. Мимо Гришки Нефёдова.

Вытершись, протянула за спину руку, чтобы взять купальник – купальника не было.

– Катька! Убью!

Гонялась в кустах за хохочущей девчонкой. Поддала по попке, отобрав купальник. Увидев выдрихинского мужика, ведущего к речке лошадь – разом присела. Заползла за ближайший куст и чуть ли не лёжа поскорей начала напяливать купальник. На девятилетней Катюшке хотя и был купальник, сшитый мамой из папиной майки, но она тоже приседала рядом, прыскала, как бы вместе с сестрой стыдилась мужика.

А тот, похоже, и не видел их, спокойно разделся до длинных трусов, завёл лошадь в воду, стал мыть. Пригоршнями черпал и кидал на лошадь солнце.

Не торопясь шли к пяти домам на возвышенности. С плоскими телевизионными антеннами на крышах, с деревьями в птичьих гнёздах. После реки Катюшка так и осталась в мамином водолазном купальнике, зашитом внизу. Галина шла в расстёгнутом легком халатике, планомерно переставляла ноги.

Гришка Нефёдов раскрыл рот. Увидев проходящий шикарный купальник Галины. Слегка прикрываемый халатиком. Так и стоял столбом. Катюшка с полотенцем и одеялом, как верный оруженосец сестры, гордо смотрела на Гришку. Мол, знай наших! Уже тогда рядом с сестрой на выданье шла маленькая сваха в купальнике мешочком.

Гришка, проникнувшись увиденным, закрыл рот. Тут же получил мячом в лицо, подскокнул и ринулся догонять укачивающуюся с мячом ораву.

Поздно вечером перед домом культуры были танцы под радиолу, долбящую из двух алюминиевых глоток на здании.

Под шляпами фонарей Гришка гонял Галину фокстротом. Ловко выруливал на новые свободные пространства танцплощадки. Катюшка в отглаженной юбке из шотландки стучала ножкой чёткий ритм, самодовольно смотрела на бегающую пару – она сделала своё дело. Светла двух влюблённых. Вот они – танцуют фокстрот. Были, конечно, в начале

и трудности – записки предварительные, с которыми приходилось бегать, доставлять влюблённым, и передача многого на словах. Всё было. Зато теперь – результат. Танцуют, ровной строчкой бегут.

После танцев влюблённые гнали её от себя – не уходила, шла рядом: она не должна пустить всё на самотёк. Влюблённые убегали от неё, прятались – лазила по кустам, искала их в темноте.

Вышла на залуненную полянку.

– А, вот вы где...

Ждала, пока влюблённые приведут себя в порядок.

– Катька, дома убью!

Маленькая сваха смотрела на луну. Ничего, нужно терпеть. Издержки работы.

– Совсем отбились от рук, – лёжа в постели, говорила мать, Городскова Анна Николаевна. – Первый час ночи, танцы давно закончились, а они всё шастают где-то. – Толкала мужа: – Слышишь, что ли, отец?

Уже заснув, Иван Васильевич Городсков, отец двух гулён, вздрагивал. Утирал слюну:

– Да пусть их. Пока молодые.

– Да она ведь и Катюшку с собой таскает! Девчонку!

– Кто таскает? Галина? Да ты что! Она не знает, как избавиться от этой маленькой липучки, – переворачивался на другой бок, умащивал на подушке голову Иван Васильевич. Прежде чем снова уснуть, улыбнулся – он больше всех лю-

бил маленькую умную липучку.

К своей комнате сёстры крались на цыпочках.

– Завтра окучивать картошку! – ударял в темноте голос: – Гулёны!

Сёстры прыскали и скрывались в своей комнате, прикрыв плотно дверь. Включали свет. Перед тем как лечь, Катюшка по-хозяйски расчёсывала гребнем сестрины длинные волосы, отливающие рыжим. Завтра опять предстоит встреча с Гришкой. Может, на картошке, а может, потом на танцах. Нужно быть готовыми. У самой Катюшки волосы были короткими, чёрными, кудряшками по всей голове. Галина пошла в рыжего папу, А она, Катюшка, получилась в чёрную кудрявую маму.

2

Иногда, как на заказ, Феликс селился прямо под окном кабинета биологии – за стеклом видны были развешенные плакаты с домашними птицами и животными. И почти всегда, когда Екатерина Ивановна кормила кота, подходила к окну сама хозяйка кабинета, учительница биологии. Строгая дама с указкой. Хмуро смотрела на Екатерину Ивановну. Как на некомпетентную. Которая влезла со своим котом на чужую территорию.

– Привет! – поигрывала ей пальцами Городскова. – Как дела?

Строгая с указкой уходила в глубь класса. К плакатам.

Улыбаясь, Городскова шла дальше. На работу.

Толоконников, как всегда планомерно покачиваясь, ходил по коридору, заложив левую руку в карман безукоризненно отглаженного халата. Это означало, что он обдумывает *случай*. Толоконников был хорошим врачом, но Екатерину Ивановну не переставала удивлять такая манера приёма больных – в кабинете невропатолог сперва выслушивал жалобы пациента, осматривал его, стучая колено молоточком и подводя молоточек к переносице, затем выходил в коридор и планомерно ходил по нему. Затем вновь заходил в кабинет, садился и писал к карточку диагноз и назначаемое лечение. Его помощница, тощая Небылицина, сердито успокаивала нерв-

ничавших больных: «Сейчас придёт. Никуда не денется». А на вопросы товарок о шефе говорила одно только слово – закидон. При этом птичье лицо её покрывалось красными пятнами. «Вам что-то не нравится?» – хмурился шеф (Толоконников). Несколько раз предлагал Екатерине перейти из процедурного к нему. (После случая с оживлением старухи он Городскову очень зауважал.) «А, Екатерина Ивановна? Соглашайтесь. А то сидит вся в красных пятнах, терпеть меня не может – и не уходит. – Смеялся: – Прямо патология какая-то у неё. Невроз».

– Здравствуйте, Виктор Валерьевич, – первой поздоровалась Городскова.

Толоконников сразу подхватил под руку, повёл:

– Так как с моим предложением, Екатерина Ивановна?

– Нет, извините, Виктор Валерьевич, – доставала ключ от кабинета Городскова. – Я уж у себя. Мне в процедурном привычней.

– Но что же мне делать? Не к главврачу же идти?

Городскова улыбнулась – из кабинета Толоконникова выглянуло птичье лицо. Уже в красных пятнах:

– Виктор Валерьевич, вас ждут!

Толоконников обречённо пошёл. Слабохарактерный малый, безжалостно подумала Городскова. С победоносным именем Виктор. Давно бы выгнал стервозную цаплю. Терпит.

Городскова открыла, наконец, дверь, мельком глянув на

трёх женщин, уже ждущих на диване.

В тесном коридорчике всё верхнее сняла и убрала в специальный ящик-гардероб. Надела голубую рабочую рубашку и штаны, на ноги лёгкие кожаные тапочки. Волосы, растряхнув, обмотала вокруг головы и поместила под высокую шапочку-колпак. Вымыла тщательно руки.

За столом в кабинете раскрыла лохматый журнал, написала на новой странице сегодняшнее число. И лишь после этого крикнула: «Входите!»

Вошла женщина в песцовой шапке. Городскова глянула на её сапоги – сапоги были в бахилах.

– Что у вас?

– Кокарбоксилаза, рибоксин и пропанорм. – Женщина подала пакетик с ампулками и направление.

Городскова отошла к столу, стала записывать в журнал первую пациентку. Одновременно говорила:

– Повесьте шапку, снимите кофту и юбку и ложитесь на бок лицом к стене.

Вдруг остановила ручку. Повернулась. Отгороженная от двери ширмой, – на лежаке сосредоточенно раздевалась пятидесятилетняя... Ленка Майорова. Со вздыбленными, непрокрашенными волосами, с морщинками – как с сеном по всему бледному крупному лицу.

Городскова выхватила из тумбочки и повязала медицинскую маску. Спросила, не оборачиваясь:

– Как ваша фамилия? Тут неразборчиво.

– Ланская. Елена Фёдоровна, – климаксным басом ответила Майорова. Уже отвернувшись к стене.

Так, артистка, значит, теперь. Певица. Конечно, по мужу какому-нибудь. Второму или третьему. Городскова быстро готовила уколы.

Большое серое бедро было всё в склеротических венках, в сосудах. Однако что же ты так запустила себя, подруга? Тщательно протёрла кожу двумя ватками со спиртом. Словно стремилась загнать сосудики внутрь, подальше.

– Расслабьтесь, Елена Фёдоровна. – Стала вводить лекарство. Медленно.

– Не больно, Елена Фёдоровна?

– Нет. Спасибо, – вновь пробасила Ланская.

– Вот и хорошо.

Дав надеть пациентке юбку, усадила к столу, затянула на руке резину: «Поработайте кулачком». Вена вся была истыкана, как у наркоманки, серая кожа на руке обвисла. Развязывая резину, вводила лекарство. Слышала тяжёлое напряжённое дыхание Майоровой.

– Сколько лечитесь, Елена Фёдоровна?

– Третий год. Из больницы в больницу. И в Москве, и вот здесь, у вас. Уже побывала в вашей Второй городской. Муж уже замучился со мной.

– Ну что вы, муж и дети это большая поддержка при болезни, – склонив лицо, то ли плакала, то ли смеялась медсестра в голубой маске. Майорова непонимающе, насторо-

женно смотрела. Введёт ещё что-нибудь не то.

Когда Майорова ушла – с развязанной упавшей маской сидела у стола. Покачивала головой. Слезы в глазах стояли будто стёкла.

Новый, 1979 год всегдашней компанией встречали у Дмитриевых. Родители слиняли куда-то. Сынку своему Алёшке дали карт-бланш. И Алёшка-сыннок расстарался – бутылки в кухне на полу стояли полчищами.

В комнате за столом галдели, смеялись, кричали десять человек. Пять пар парней и девчонок. Каждый пока твёрдо помнил, с кем пришёл или хотя бы для кого предназначен. Даже Катьке Городсковой, чтобы закрыть за столом брешь, привели некоего Губина Генку. С чубом как пугач. Генка этот работал с Алёшкой на одном заводе, был его напарником по токарному станку.

Катка очень быстро почувствовала руку этого Генки на своей талии. Рука талию недвусмысленно подавливала. При том чубатый хозяин руки больше всех хохотал, а свободной рукой умудрялся закусывать и закидывать рюмки. Фокусник. Городскова терпела. Словно бы ничего не чувствовала, охваченная общим весельем.

Потом стол сдвинули. И на какое-то время все обезумели – долбились в рокэнроле. Яростно. Норовя переломать себе ноги и повыдёргивать друг у дружки руки.

Когда опять вернулись к бутылкам и еде, талию вновь начала тискать рука. Отнюдь не рокэнрольная. Даже понуждать. Мол, пошли. Видимо, в пустую пока что спальню. «От-

вали!» – косо глянула Городскова. Дескать, в морду дам. Рука отстала. Однако передала эстафету другой руке, левой, которая начала тискать уже Ленку Майорову. Как будто не знала, что Ленка предназначена для другого, для Алёшки Дмитриева, друга, напарника по станку.

Сам Алёшка ничего не замечал, ему нужно было заводить всех, подстёгивать, гнать веселье вперёд. Он вскакивал с рюмкой, призывал выпить. Будто вместе с ним, комиссаром, бежать в атаку. Поэтому, когда спевшаяся парочка пошла якобы покурить, но провалилась в тёмную спальню – Алёшка очень удивился, не поверил глазам своим. Ринулся в спальню и начал лупить своего друга и напарника по станку. Ленка Майорова кидалась тигрицей, но царапала не Генку (Губина), а Алёшку. Своего любимого! (Это как понимать?) Уже при свете крепкая Городскова бесстрашно разнимала, лезла между дерущимися, получала от кого-то, но всё равно лезла, не давала драться. Визг, крики стояли невероятные. И оборвались только после того, как весь дом начал лупить в батарее. Все даже устыдились немного. Многие начали быстро собираться, трезво полагая, что сейчас прибудет милиция. Продолжала буйствовать одна лишь Ленка Майорова. (Выпила, что ли, больше всех?) Тащила хахаля Генку с разбитой мордой к выходу (а что он оказался её хахалем, узнали тут же, в спальне, из криков самой Ленки), орала, поносила Алёшку всякими словами. И как припечатала последним: – «Импотент!»

Это уже было серьёзно. Побледневший Алёшка снова ки- нулся, сам вытолкал парочку на площадку и выкинул их одежду. Захлопнул дверь.

Все начали успокаивать Алёшку, наливать, заставляли выпить. Алёшка сидел расхристанный, в порванной рубаш- ке, послушно глотал рюмки. Тут как спасенье Новый год подоспел. Куранты забили. «С Новым годом! С Новым го- дом!» – кричали все, давали пробками в потолок, налива- ли, стукались, пили. И всё как-то снова забурило за столом, опять понеслось. Алёшка уже пел и размашисто, призывно бил по струнам гитары, и все орали вместе с ним песню, ра- зом забыв коварных изменщиков. И любимую Алёшки, и чу- батого напарника по станку:

Как отблеск от заката, костёр меж сосен пляшет.

Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись!

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Одна Городскова не пела. Не могла отойти от скандала. Удивлялась, что Алёшка так быстро всё забыл. Трогала надор- ванную мочку левого уха (работа Ленки), сидела как-то от- дельно ото всех. Безотчётно стучалась с кем-то рюмкой, пи- ла. И в какой-то момент почувствовала, что опьянела. Силь- но. Улыбалась блаженно, грозила кому-то пальчиком, нико- го словно бы уже не узнавая. Девчонки подхватили её, увели

в спальню и положили в темноте на тахту. Сняли тапочки. Спи, подруга, через час разбудим!

Ночью она не могла проснуться. Чувствовала, что не в своей постели – и не могла. Чьи-то руки словно бы ползали по ней, раздевали. Она стонала, ворочалась, тоже словно помогала себя раздеть.

Разом проснулась от навалившегося тела. От режущего, бьющего внутрь огня. Ничего не могла понять в темноте. Начала бороться: «Пусти, гад!» Огонь перестал бить, угас. Словно залитый горячей водой. В свете открывшейся на миг двери мелькнула голова Алёшки. Дмитриева!

Лежала, часто дыша. Не верила. За дверью долбила музыка, кричали голоса.

Потрогала себя – белья не было, даже чулок. Только платье на пузо задрано. Села, начала шарить, искать всё. На шёлковом покрывале под собой почувствовала сырость. Как будто описалась. Завыла, зараскачивалась подстреленной волчицей, которая не знает, куда ползти.

Вытиралась своим же бельём. Потом одевалась. Руки были грязными, ко всему липли. Вытирала, вытирала их о шёлк.

Черная штора на окне уже начала сочиться красным светом. Долго стояла перед ней, точно перед входом в ад. Ждала, когда за спиной перестанет долбить музыка, когда, наконец, потонут вместе с ней голоса.

Вышла в комнату. Два парня и Танька Левшина спали кто

где. Под светящим абажуром мерк и дымился новогодний разгромленный стол.

Пошла на кухню. Алёшка сидел у окна, подняв колено к подбородку, дёргал из сигаретки. Увидев – отвернулся. Был он трезв, как собака. Нагорбившаяся трусливая спина раздувалась от тяжёлого дыхания.

– Что же ты наделал, Дмитриев? – спокойно спросила Городскова. – Мне что, теперь в милицию идти? Экспертизу проходить? Чтобы тебя посадили?

– Прости, Катя, – всё не мог обернуться парень, – я подлец. Прости. Всё из-за этой стервы. Ужалила.

– Да я-то что, подстилка для вас? Чтобы вы с Ленкой проверяли на мне твои способности?

Пошла в прихожую. Дмитриев кинулся, схватил, попытался надеть на неё пальто. Глянула – пальто отпустил.

Парень с тоской смотрел на потолок, точно искал там крюк, чтобы повеситься.

– Не знаю, что мне теперь делать.

– В спальне всё за собой убери, – посоветовала Городскова. – Белое покрывало постирни. До прихода родителей.

Хлопнула дверь.

Мать отступила от порога: мокрые глаза дочери были будто грязные цветки.

– Что случилось, Катя?

Дочь молчком снимала пальто, потом сапоги. Не сняв изжёванного новогоднего платья, в чулках пошла в ванную.

Городсковы, отец и мать, в кухне за столом напряженно ждали. Среди вымытых, перевёрнутых на полотенце тарелок, бокалов, рюмок. Поглядывали на высокое окошко на стене, за которым шумела вода. Строили предположения, что там у них, у молодёжи, могло случиться. В новогоднюю ночь.

Катя вышла в байковом халате, очень бледная, смывшая всё с лица.

– С новым годом, дорогие родители. – Подошла, коснулась губами щёк отца и матери. Налила в чашку воды, стала пить.

– Так что же всё-таки случилось? Катя? – подступалась, мучилась мать.

– Да в общем-то ничего особенного, мама. Просто порвала со своей лучшей подругой и со своим лучшим другом.

– А я тебе говорила, – уже кричала в спину уходящей дочери мать. – Не лезь в их жизнь, не лезь! Всегда будешь виноватой! Вот и получила! – Сбавила тон: – Сваха чёртова. И в кого такая! А? Чего молчишь? – повернулась к мужу.

Студентка четвёртого курса медучилища лежала у себя, смотрела в потолок – сваху изнасиловали.

В срок месячных не было. Ни 25 января, ни 26. Ещё надеялась, – задержка, какая бывает у других. У той же Ленки Майоровой. Но нет: прошла ещё неделя, потом вторая – ничего. Беременна. Точно. Залетела с первого раза. Сама пьяная и кобель пьяный. Хорошее может получиться дитя.

Тянула, надеялась на что-то. Не могла решиться пойти к гинекологу. Наконец решилась – пошла на приём. Но не в районную, а платную поликлинику, единственную в городе, находящуюся в кирпичном старинном купеческом здании. На втором этаже, в кресле, словно снова была изнасилована. Полным евреем-гинекологом. «Пять недель, дорогая студентка, – сдернув перчатки, мыл руки полный еврей. Вытирал полотенцем: – Будешь делать аборт, писать направление?» Почему-то с ужасом замотала головой, выскочила из кабинета, как ошпаренная.

На занятиях по теме «Акушерство и гинекология» сидела и тупо смотрела на плакат. На главный грушевидный детородный орган. Представляла такую же грушку у себя. И грушка эта уже растёт, скоро превратится в грушу, дальше в дыню, и рост её уже ничем не остановить. «Городскова, расскажи нам о строении матки и фаллопиевых труб», говорила преподавательница Зубарева. Екатерина выходила к плакату нахмуренно, говорила по теме, зло тыкая указкой в плакат.

Зубарева, похожая на белую щуку в очках, с недоумением глядела на лучшую свою студентку. Что это с ней? А деревенский Князев за последним столом прыскал, давился смехом – он один понял про матку.

Не чувствовала ничего. Ни тошноты, ни чтоб на солёное. Всего того, что бывает у других. Всяких извращений вкуса. Когда колупают и едят даже известку. У неё – ничего. Здоровая крепкая девка. Только в матке что-то засело, затаилось. И наружу теперь – никак.

Своё бельё давно стирала сама. Поэтому тогда, после случившегося, мать ничего не заметила. А те трусики и панталоны, измазанные кровью, заметая следы, завернула в газету и бросила в мусорный бак. Во дворе. Спасибо, Алёша. Век тебя буду помнить. И как-то после этого успокоилась. Девственность? Подумаешь. Пережиток.

Однако прошёл не век, а всего лишь месяц с небольшим – пришлось вновь вспомнить Алёшу. «Сволочь ты такая, Дмитриев!»

В марте Анна Николаевна случайно увидела в полуоткрытую дверь одевающуюся дочь с округлившимся животом. Обмерла. Дочь была беременной.

Охнув, Анна Николаевна вошла. Дочь сразу отвернулась, закрылась комбинацией.

– Что же ты скрывала, дочка? – уже причитала в голую спину мать. – Столько времени молчала! Почему нам не сказала?. Мы что с отцом – звери?

Села на тахту и заплакала. Полуголая дочь сразу кинулась. Успокаивала мать на груди своей как ребёнка. Ну-ну, мама. Не надо.

Вечером на семейном совете решили: рожать Катюшке. Помня горький опыт Галины, которая, сделав когда-то аборт, так и не смогла потом забеременеть, смотрели в будущее Катюшки с оптимизмом. Подумаешь, пьяное было зачатие – дай бог, пронесёт. Иван Васильевич, правда, допытывался, хотел узнать родословную: «Кто хоть отец-то, Катюша? Скажи». – «Вы его не знаете. Да и он не узнает ничего. Случайно всё». «По пьянке», – хотела добавить. Но вспомнив убитую морду Дмитриева на кухне, ничего больше не сказала.

Ходила на занятия, прилежно училась последний год. Родителям сначала казалось: дочь переживает, может быть, по ночам даже плачет, что будущий ребёнок родится сразу безотцовщиной. Но та, походило, и не думала унывать – налегла на фрукты, на соки, ела за двоих. Вернее – на двоих. И Анна Николаевна постоянно теперь спрашивала: «Что хочешь сегодня, Катюша? Что приготовить?» И студентка, уже привыкнув к своей весомости и значимости в доме, и физической и моральной, солидно заказывала: «Сегодня пельмени, мама».

Ни к кому из прежней компании не ходила. И никому не звонила. Ленку и Дмитриева, как себя уверила, из своей жизни вычеркнула. Словом, прошлое по боку. Начало новой жизни.

Однажды, уже в апреле, на улице наткнулась на Таньку Левшину.

– Катька, куда ты пропала? Не была с нами ни на Восьмое, ни на дне рождения Алёшки! – обрадовалась бывшая одноклассница, шустрая девица с мотыльковыми глазками. Как и Дмитриев, заводила компании. Только женской её части. Этакий локомотивчик. Обзванивала подруг, сообщала, где намечается балдёж, кто будет на нём, кто должен что принести, что приготовить.

На Екатерине был колокольный длинный плащ без пояса. Что беременная – не увидеть, не понять. Поэтому спокойно ответила:

– Скоро выпускаюсь, Таня. Занятий сейчас, сама понимаешь – с головой.

Левшина всё разглядывала подругу: какая-то Катька другая стала, повзрослевшая, что ли, с чистым спокойным лицом.

Спохватившись, радостно доложила, что Алёшка теперь вроде бы с Галькой Авериной, Из параллельного. Помнишь? Ленку свою бросил окончательно. Молодец! Такого не прощают.

Ждала подхвата, продолжения темы, но Городскова сказала:

– Извини, Таня, чапать надо в училище. Нашим всем привет. Увидимся.

Странная стала Катька, очень странная, смотрела вслед

Левшина.

Однако кто-то из их компании увидел все же беременный живот Городсковой, потому что однажды возле училища появился Алексей Дмитриев. Екатерина заметила его в окно. Из аудитории. Он нервно ходил возле высокого крыльца, поджидал явно её.

На этот раз Городскова была без плаща – всё налицо. Спустилась по лестнице.

Дмитриев раскрыл рот. Как будто увидел молодого кенгуру на улице в России.

– Вот какая ты... стала, – только и смог произнести.

Городскова усмехнулась, пошла. Дмитриев уже озабоченно суетился, высовывался с разных сторон:

– Катя, нам нужно что-то делать. Что-то предпринять.

– И что же? – Сейчас наверняка заговорит про аборт. Однако Дмитриев удивил:

– Ну расписаться хотя бы для начала, Катя. Мне в армию скоро, так как же это всё останется.

– Что останется? – спокойно шла и всё экзаменовала Городскова.

– Ну как же. Ты, наверное, скоро родишь, а меня не будет рядом. А?

– А кто тебе сказал, что ты должен быть рядом? – Подходили к автобусной остановке: – Служи спокойно, Алёша. Тебя это никак не касается.

Городскова влезла в подошедший автобус. Автобус по-

шёл. Дмитриев остался на остановке.

Не удержалась, посмотрела в заднее стекло – Алёшка уменьшался, превращался в брошенного человечка. Что-то дрогнуло в душе, заныло. Достала платок, чтобы вытереть глаза.

– Садитесь, женщина, – тронул за плечо какой-то парень.

На распределении, которое было в мае, твердо сказала, что хочет поехать работать в Сургут. Что среди других городов и сёл заявка из Сургута есть. (Как будто этого в комиссии не знали.)

Пять человек в белых халатах с удивлением смотрели на сидящую на стуле беременную студентку, которая имела полное право остаться работать в городе. Никуда не уезжать. Тем более у неё здесь родители. Милая девушка, зачем вам в Сургут? У вас там муж? У меня нет там мужа, у меня там родная сестра. Ну что ж, совещаясь, повертелись репы в комиссии: пусть будет так, как девушка желает. Распишитесь, пожалуйста. Екатерина чётко расписалась в заявке и пошла к двери. В квадратном плотном платье и почему-то в чёрных тёплых чулках и туристских ботинках. Словно уже одетая для освоения Севера.

Анна Николаевна и Иван Васильевич расстраивались, тосковали – младшая дочь уедет вслед за старшей к чёрту на рога. Что убедить упрямую не смогли. Оказалось, всё у неё с Галиной было решено и оговорено заранее. Ещё месяц назад. По телефону. Галина и заявку в чёртов свой Сургут устрои-

ла. И переубедить теперь уже двух ослиц было невозможно.

В июне, сдав экзамены и получив диплом, Екатерина уехала в Сургут. Стала работать в районной поликлинике. Жила вместе с сестрой.

Точно в срок, в сентябре, родила сына. Галина предложила назвать его Валеркой. Назвали. Записали в загсе: Городсков Валерий Алексеевич. 1981го года рождения. В графе «отец» – прочерк.

Глава шестая

1

Ночью Дмитриев пытался продать деревенскому покупателю с сидорком пишущую машинку. Битый час он закладывал чистые листы и показывал её в работе. Громоздкая канцелярская «Украина-2» лупила как гангстерский машинган: покупатель дурак! покупатель дурак! покупатель дурак! Деревенский покупатель уважительно удивлялся: надо же. Пошёл с сидорком на спине к двери. «Стой, деревенский покупатель! – кричал на лестнице Дмитриев. – Отдам даром! Как собаку! В хорошие руки! Стой, идиот!» Но деревенский покупатель даже не обернулся.

Дмитриев перекинулся на другой бок. Деревенский покупатель начал бить его по башке. Как по ведру. Гремя на весь подъезд! «Что ты делаешь, деревенский покупатель! – пугался в ведре Дмитриев. – Опомнись! Прекрати!»

Утром из шкафа вытащил тяжеленную «Украину-2», поставил на стол. Пыльный молчащий агрегат с чугунной станиной напоминал брошенную фабрику. Может, действительно отдать кому. «В хорошие руки». Теперь все с компьютерами, вряд ли кто купит. Фломастером написал три объявления.

На мобильный позвонили уже вечером. Женский голос долго выпытывал, какая машинка, в рабочем ли состоянии, есть ли запасные пишущие ленты к ней («сейчас, сами знаете, их нигде не найдёшь»), за сколько, да возможен ли торг. «Да даром же! – сердился старик. – Придите и посмотрите!» В конце концов сказал адрес, думая, что не придёт, просто дурочку валяет.

Однако женщина пришла. И не одна, а вроде бы с мужем. Мрачный мужчина в шапке, как дом, остался стоять в прихожей, а женщина прошла в комнату. Но словно не к машинке на столе, а к мебели и стенам. Которые она стала оглядывать с большим интересом. Это была невысокая брюнетка лет тридцати, кавказской национальности, в чёрной вязаной шапке и пальтеце с воротником. «Хорошо у вас. Одни живёте?» – повернулась к хозяину. Хозяин нахмурился: «Один». В свою очередь, спросил, зачем таким молодым пишущая машинка. «А это бабушке, – пояснила смуглолица, подойдя, наконец, к машинке и коробке с пишущими лентами. Словно не зная, что с этим всем делать. Забыто говорила: – Бабушка у нас хорошая машинистка... Так можно взять? Бесплатно?.. Николай!» Мрачный молчком забрал (именно забрал) тяжеленную машину под мышку и пошёл на выход. «Коля, осторожно, перышки помнёшь!» – оборачивалась к Дмитриеву женщина. Уже с лестницы крикнула: «Большое спасибо!» Странная пара, подумал Дмитриев и закрыл дверь.

Рано утром, вынося ведро, увидел свою «Украину-2» в мусорном баке. Кверху лапами. Вроде убитого, расчехвленного глухаря. Бросив ведро, вытащил, понёс на руках домой.

Длинногубцами и пинцетом пытался выправлять испохабленные рычажки с буквами. Ничего не получалось. Рычажки всё равно цеплялись друг за дружку. Машинка была изувечена, убита. Сволочи! Поставил её опять в шкаф. Прикрыл чёрным бархатом. Как похоронил. Целый день просидел дома. С пустыми глазами возле мигающего телевизора.

Вечером опять позвонили: «Мы забыли коробку с лентами. На столе. Можно мы придём за ней?» – «Да я тебя, сволота такая...» – начал было пенсионер, но на другом конце разом отключились. Тяжело дышал, сжав мобильник. Отбросил на диван.

– Да какие чёрные риэлторы, Катя! – кричал вечером пришедшей Городской. – Видела бы ты его уголовную рожу с шапкой на глаза! Бандит! И наверняка не один. Поражаюсь, как он не вырубил меня сразу. Видимо, чеченке нужно было всё увидеть своими глазами, обследовать, и тогда уж решить, убивать или нет. Вот и решила за сутки – убивать. Позвонила. Не наткнись я утром на свою «Украину» на помойке – неизвестно, что бы ты застала. Придя сюда, – уже хмурился старик, обнаружив под шумок заставленный продуктами стол.

Городскова совала курицу в целлофане в морозильник.

Советовала срочно сменить сим-карту. Сергей Петрович! Могут сдёрнуть деньги. Все ваши сбережения. Со счёта в банке.

– Вряд ли такое возможно, – сбавил голос старик. – Да и нет у меня никаких сбережений в банках. Вон, всё в столе. Остатки от пенсий. Могли бы просто дать по башке и собрать всё.

Помолчал, мечась взглядом.

– Знаете, Екатерина, осталось гаденькое чувство – дал себя облапошить, подпустил их к себе, как распоследний маразмат. С палочкой. На скамеечке. С отвешенным ротиком.

Представив эту картину, старик закрыл глаза. Точно плакал.

– Ну-ну, Сергей Петрович. Не расстраивайтесь. Всё обошлось. Вам обязательно надо поставить глазок в дверь. Ведь вы открываете всем не спрашивая. Так нельзя.

Но Дмитриев всё не унимался:

– Нет, Катя, смотрите, какие психологи! Как всё рассчитали! Ведь кто в наше время продаёт или отдаёт пишущие машинки? Старые, часто одинокие люди. Старики. Ага! Вот мы и сорвём телефончик, и позвоним! Дверь-то нам и откроют!

Екатерина, казалось, уже не слушала, писала на бумажке отчёт. О купленных продуктах. С некоторых пор старик поставил условие, что за все приносимые ею продукты будет платить. Раз уж с вами бороться невозможно! Екатерина чувствовала себя жлобовкой. «Вот, Сергей Петрович, всё,

что купила и сколько заплатила». Хотела отдать и чеки, но не решилась.

Старик пошёл к столу. К ящику стола. К своим сбережениям. Вернулся. Протянул деньги. Оба испытывали неудобство. Чёрт знает что, злился старик. Тем более, что Городскова сразу засобиралась. Даже не попив чаю. Куда же вы? Поздно, Сергей Петрович.

Старик тоже стал одеваться, чтобы проводить.

– Вам нельзя выходить сейчас, Сергей Петрович.

– Это почему ещё? – уже надевал свои скалолазы.

– Они могут поджидать вас во дворе.

– Не смешите, Екатерина Ивановна.

Тогда Городскова начала настаивать, чтобы он оставил в квартире свет. Увидят свет, значит дома, забаррикадировался. Ничем не взять, Сергей Петрович!

– Вы однако фантазёрка, – уже закрывал дверь старик.

Вышли во двор, в черноту, под мартовские сахарные звёзды. На улице было светлее – с дымящимися фонарями уходил, блестел гололёд. Ноги Екатерины сразу стали разъезжаться. Дмитриев крепко взял её под руку. Да, этот может постоять за себя. И всё же обмирало сердце, когда представляла, что могло сегодня быть, если бы вечером старик всё же открыл дверь бандитам. Искоса поглядывала на выдвинутое лицо. В виде железного забрала.

Ледоступы старика уверенно хрустели, грызли лёд.

2

В конторе отопление, видимо, не работало. Чтобы согреться, нотариус ходила по комнате. Руки её со спущенными рукавами кофты роднились с мёрзнувшими лапами обезьяны.

– ...Вы теперь должны, Сергей Петрович, поехать и пройти психиатрическую экспертизу, и с их справкой и двумя свидетелями вернуться ко мне. Сегодня же. Потому что справка действительна только сутки. А то мало ли что.

Точно. Клиент может сдвинуться за день, додумал за неё Дмитриев. Поднялся. Женщина вырвала листок и уже писала адрес.

– Вот, Сергей Петрович. Доедете на 60ом до предпоследней остановки. Она так и называется – «Психоневрологический диспансер». И там увидите здание на отшибе – вам в него. Жду вас. Я работаю до семи.

От остановки к «зданию на отшибе» шёл по ледяным лужам. Или вылезал из луж и проваливался в снег рядом с лужами. К серой пятиэтажной хрущёбе с окошками и без балконов вышел, окончательно промочив ноги. Однако внутри попал как будто в парную баню – весь коридор первого этажа был забит людьми. (Неужели в городе столько психов?) Очереди были и в регистратуру, и в кассу, куда нужно было платить за услуги заведения, и к кабинетам, где возле каж-

дой двери стояли и сидели пациенты. (Психи.)

Через полтора часа, наслушавшись разного бреда вокруг себя (голову поворачивал как удивляющийся гусак – то в одну, то в другую сторону), Дмитриев оказался, наконец, в кабинете психиатра.

Врач с большим хлебным лицом, разбирая бумаги, спросил, как фамилия, имя-отчество, с какого года рождения, числа, месяца. И стал писать. Писал долго. Словно расписывал полученные скудные сведения в повесть, в роман. Дмитриев поглядывал на свои часы. Потом на стену, где висел какой-то бородатый корифей. Вроде бы Сеченов.

Через десять минут психиатр протянул справку: «Вот, пожалуйста. Для нотариуса. Вы абсолютно здоровы».

– О чём же вы писали столько времени! – в сердцах воскликнул Дмитриев.

– Извините. Нам нужно. На случай судов. Прокуратуры. Ваш анамнез. Психически здорового человека. А на это уходит время.

Психиатр с рыжим хлебным лицом смотрел в окно. Рас толковывать каждый раз идиотам. Писать им эпикризы.

Да-а, тут только руками развести. Чертыхаясь, опять проваливался в мартовском снегу к остановке. И в психушке всё с ног на голову! И там всё перевернули!

Нужно было домой, сменить окончательно промокшую обувь, носки, но время поджимало, и сразу помчался на маршрутке в центр.

Завхоз Финеев Валентин Иванович при виде Дмитриева вскочил из-за стола:

– Сергей Петрович! Рад, рад! – тряс руку. – Садитесь, садитесь. Рассказывайте, что случилось. С компьютером что-нибудь?

Дмитриев изложил суть дела.

– ...Только это нужно сделать срочно. Пойти прямо сейчас. Сможете помочь, Валентин?

– Да какой разговор! Уже одеваюсь.

Быстро шли по коридору техникума. Из раскрытых изнывающих аудиторий слышались лишь голоса преподавателей. Дмитриев кивнул какому-то остановившемуся, разинушемуся лицу.

На вахте Валентин Иванович потыкал кнопки телефона: «Лиля, ты срочно нужна. Брось все дела и дуй к нотариусу на Пушкина. Жди нас возле входа».

Невысокая женщина в беретике и лёгкой курточке прогуливалась вдоль окон нотариальной конторы на Пушкина. Увидела мужа, с ним какого-то старика с вислым, как колун, носом. Знакомясь, пожала его ледяную руку. Втроём вошли в контору.

Через час вышли наружу, застёгивая одежду. Жена Лиля сразу заторопилась домой. Что называется, нужно к плите. Старик с благодарностью потряс её маленькую ручку. Лицо его горело. Ступни ног ощущали в ботинках холодную липкую слизь. Определённо заболело. Целый день с сырыми но-

гами.

– Ну что, Сергей Петрович, – отметим событие? – кивнул Винеев на кафе через дорогу. Под названием «У Маруси».

Точно. Спасение от простуды. Выпить! Через пару минут уже раздевались в кафе.

– Вы простите меня, Сергей Петрович, за любопытство, но кто вам приходится этот Городсков Роман Валерьевич? – спрашивал, управляясь с бифштексом, Финеев. – Он ваш внук?

Дмитриев уже хлопнул три рюмки. Колун-нос его пошёл окалиной. Дмитриев тоже пилил ножом в тарелке. Однако прервался, потрогал на столе пластиковый файл с документами. Словно убедился, что они на месте. Лишь после этого ответил:

– Он сын и внук моих добрых знакомых. Он стал дорогим мне человеком. Я с ним подружился. Разве этого мало в наше подлое время? – Опять налил в рюмки. Поднял свою: «Ваше здоровье!» Хлопнул, стал закусывать.

Значит, завещание на квартиру написал постороннему человеку, мальчишке. Как баба подпершись рукой, Финеев смотрел на безрассудного старика. А тот, смахнув салфеткой с губ, уже рассуждал:

– Знаете, Валентин, вообще-то только дети делают нас людьми. Общение с ними. Приходится подтягиваться, стараться быть лучше, чем ты на самом деле. А так, кто ты есть – желчный, никому не нужный старик. Никто тебе не пишет,

не звонит. Тебя нет. Ты невидим... У вас есть дети, Валентин?

У Финеева не было детей. Он удивился такому рассуждению старика. Можно сказать, простился с квартирой и не унывает. Смотрел на старика, как будто тот уже квартиру потерял. Безвозвратно. Жалея, хотел даже расплатиться за всё, что съели и выпили. Однако новоиспечённый бомж не позволил. Ни в коем случае, Валентин! Сам начал выкладывать купюры официантке на стол. Этаким завсегдатаем, кутилой. Потребовал ещё сто грамм. На посошок, девушка!

Сидели дальше, разговаривали. Финеев рассказывал о себе:

– Я ведь бизнес имел, Сергей Петрович. Четыре года был директором небольшой фирмы. Да компаньон кинул. Свинтил со всеми деньгами. Где-то в Америке сейчас. Пытался ещё раз подняться. Уже один. Не вышло. Вот и в завхозах оказался.

Финеев загрустил, подпёрся кулаком:

– Мы ведь живём по принципу русского человека, Сергей Петрович. По единственному. Дают – бери. Бьют – беги. Отвечать ни за что не можем, не умеем. Какой тут к чёрту бизнес.

– Валентин! Не грустить! Поднимешься! – уже приказывал Дмитриев. – Всё у тебя в порядке! Не грустить!

Пятясь, хватаясь за стулья, – поднялись. Как бы в бизнесе. Как бы каждый в своём. В кафе уже бомбила музыка из

чёрных ящиков. Возле эстрады самозабвенно толклись мужчины и женщины.

К гардеробу шли с добрыми улыбками хорошо оттянувшихся забулдыг, осторожно обходили столики с весёлыми людьми. Один – старый, высокий, с пластиковой папкой в руках, другой – сравнительно молодой ещё, невысокого роста.

Под сахарными звёздами, словно разбивая их вдрызг – ударились и поцеловались. Дали клятву, что завтра встретятся здесь же. Сергей Петрович! Валентин! И пошли в разные стороны.

В верхнем ящике стола вздрюченный алкоголем Дмитриев видел всё преувеличенно чётко, рельефно. Затёртые купюры казались свежими, новыми. Даже хрустящими. Свернувшаяся нитка мутного жемчуга – будто бы сияла.

Как мусор – сдвинул всё влево, аккуратно положил пластиковый файл с документами. Жемчуг выдавился на край папки. Но это ничего. Будь Надежда жива – одобрила бы всё.

Вытянул всю нитку. Полюбовался её сверканием. Этот жемчуг купил жене на годовщину свадьбы. В ювелирном на Ленина.

Сидел на диване. Перебирал жемчужины будто чётки.

Из Уфы приезжали на свадьбу мать и отец. Гобоист Пётр Петрович Дмитриев, отыграв под сценой театра двадцать пять лет, был уже на пенсии. Мать продолжала работать. Всё ещё одевала певиц-толстух.

Посреди шумной свадьбы во дворе дома на окраине они сидели потерянно, забыто. В самом конце длинного стола. Отец сильно постарел. Плешивая голова его с буйными когда-то волосами (не хуже даже, чем у самого Шавката Нургалиевича) теперь походила на выдутое осенними ветрами гнездо. Мать, как птица этого гнезда, прижималась к отцу, держала его руку.

Умеренно пьяный, счастливый, Дмитриев всё время подходил к ним и, приобняв, словно бы показывал на свою брошенную невесту. На другом конце длинного стола. Мол, вон она, моя невеста, по имени Надежда. Моё счастье. Сейчас, правда, хмурится она от того, что я её оставил. Но с ней пройдёт. Уверяю вас! Смеясь, возвращался обратно. Под крики «горько» крепко целовал вскочившую Надежду. Точно глушил её недовольство гранатой. Падал на стул и махал родителям. Видели, всё обошлось. Смекалка. Русская.

Под весенним необъятном небом кричал, пел и чокался весь педагогический коллектив металлургического техникума. Во главе с самим Петранюком, директором. После кри-

ков «горько», когда невеста классически сомлевала в объятиях жениха, все вскакивали, снова чокались, пили, падали и закусывали. Один Петранюк был недвижим. Раздувшись от винных паров и важности, солидно говорил через стол гобоисту и его жене, постукивая пальцами по скатерти: «Спасибо за сына. Отличного воспитали специалиста». Отец и мать готовы были плакать. Хотя всегда хотели, чтобы сын стал музыкантом, а не «отличным специалистом» неизвестно по чему. Могли бы рассказать, что сын в своё время окончил музыкальную школу-десятилетку. По классу скрипки. Окончил блестяще. Но после армии почему-то поехал в Свердловск и поступил там во ВТУЗ при Уралмашзаводе... Могли бы рассказать... Но не смели. Никто бы их за этим столом не понял. Даже уважаемый товарищ Петранюк.

При прощании на вокзале Пётр Петрович опять шмыгал, раздувал свои крупные ноздри. Он словно чувствовал, что видит сына в последний раз. Был он в длинном плаще и широкополой шляпе карбонария. (Не иначе мама так одела.) Сын обнимал его, искренне обещал приезжать в Уфу чаще. Как на гаранта, показывал на жену, которая уже нашла общий язык со свекровью, и они шептались о своём, о женском.

Шли и махали уходящему поезду. «Какие у тебя хорошие мама и папа, – говорила Надежда. – Почему ты не рассказывал о них?» Дмитриеву сдавливало горло. Он и сам не знал – почему.

На похоронах отца, когда заколоченный гроб стали опускать в могилу, Дмитриев начал закидывать лицо к небу. Словно искал там отлетевшего с земли отца и не находил, не видел от слёз. Завывшую мать увёл от могилы, спрятал у себя на груди.

Меж чёрных деревьев и могил осеннего кладбища стоял весь оркестр театра с обнажёнными головами. Шла длинная очередь к ещё не зарытой могиле, и каждый бросал в неё горстку земли. Седой, весь белый Шавкат Нургалиевич дирижировал духовой частью оркестра. Дирижировал одной рукой. Потому что другой всё время выдёргивал из кармана плаща платок. Из духовиков не играл один лишь дядя Боря-фаготист. Он стоял возле могилы друга. Плакал. Осенний ветер налетал, раскачивал деревья, набитые галками.

С вокзала Дмитриев поехал сразу в техникум. Открыл дверь здания с широкими окнами без пятнадцати девять.

Соболезнуя, Петранюк смотрел в лицо Дмитриеву очень серьёзно. Определял состояние подчинённого после похорон отца. Так же серьёзно смотрели и преподаватели в учительской, удерживая руку. Все они были гораздо старше молодого коллеги. Поэтому когда к нему припала беременная жена, тоже молодой преподаватель, начали отворачиваться. Собирали свои тетради и учебные журналы.

Поздно вечером в спальне жена говорила: «Послушай, как толкается». Чуть не насильно прикладывала голову мужа к

своему высокому животу.

Дмитриев полулежал, обняв женин живот. С растёкшимся взглядом слушал весь мир.

Однако утром за завтраком был как всегда весел, общителен. Словно забыл своего похороненного гобоиста-отца. Шутил. Как маленькую, кормил с ложечки капризничающую жену. «Ну-ка за маму!» – подмигивал теще.

Тёща, держа паркое блюдо на пальцах, не торопясь, обстоятельно отпивала. Поглядывала на зятя: ишь, старается. Но была довольна. Зять попался хороший. Любит дочь. По хозяйству всё делает. Выкопал, стаскал в погреб всю картошку. Один испилил лучёвкой дрова. Поколот, сложил в сарае. Хороший зять, не вредный.

В спальне одевались на работу. Жена перед зеркалом подкрашивала губы. Причёску уже сделала. В виде крылатой бабочки. Пятна беременной на лице удручали. Пудрой старалась замаскировать их, затереть..

У него рыжеватые волосы уже заметно отступили, освободив от себя большую часть куполообразного лба. Поправил остатки расчёской. Как кучерявый костерок на макушке создал. Так. Галстук поправить. В карман пиджака носовой платок. Порядок.

В осенних плащах под одним зонтом шли на работу. Муж оберегал беременную жену, обходил с ней лужи с выплясывающими водяными комариками.

Остановив лопату, Дмитриев смотрел на соседний участок.

Страшнее динозавра вгрызался в дом Колобродова экскаватор. Мотал зубастой башкой, крушил. Разлетались балки, доски. Взрывалась пыль. Экскаватор отползал, снова лез, вгрызался.

В пыли бегал, кричал что-то экскаваторщику новый хозяин. Купивший землю Колобродова с домом. У его жены и снохи. Старух семидесяти лет и девяноста. Ходили тут недавно, плакали. Обе, как на похоронах, в чёрном. Одна давно с палочкой. Другая ещё нет. Подковыляли к забору: «Как живёшь-то, Серёжа? А мы вот решились, продали всё. Дом-то ломать теперь будут. А? Серёжа? Господи!» Да уж точно, хотелось сказать, вон какие дворцы кругом. Но успокаивал тогда старух – дом ещё хороший, крепкий. Оставят.

И вот – крушат.

Дмитриев продолжил вскапывать землю под грядки. Поглядывал на свой дом. Наверняка разломают. Когда хозяин откинется. Как-то забыл включить его в завещание.

На соседнем участке раскрыл рот ещё один старик. Свищёв. С бородой как мох. Глядя на экскаватор, наверняка думал так же, как и Дмитриев. Его дом был плоским. Смахивал на фанзу. А, Дмитриев? Окружают?

Граблями Дмитриев принялся сгребать на участке мусор. Потом сжигал. Дым столбом уходил к высокому апрельскому небу. А по вскопанному уже сорока-посакуха прыгала. Длинным узким хвостом, как землемер палкой, взмахивала-намеряла.

Один, сидел на остановке. Покинутый в километре дачный посёлок заполнил собой всю низину до самой реки. Чужеродно, будто мёртвые надолбы, торчали с десятков трёхэтажных серых домов. Точно такой же серый надолб скоро будет торчать над участком Колобродова.

Вдали, на пустой дороге, появился автобус. В полуденном мареве плавился, искажался, дрожал. Дмитриев поднялся, надел на плечо рюкзак.

Дома обедал. Шла передача с болтающимися латексовыми уродами на заднике студии. Лысый широкогубый ведущий, эдакий серьёзный сибарит, хорошо, видимо, понимающий толк в еде и женщинах, удерживал микрофончик нежно, выпрямленными пальчиками. Как цветочек. «А теперь мы прервёмся – и продолжим культурную революцию». Х-хы, «культурную революцию». Этот от скромности не умрёт. Стоит с микрофончиком перед десятком человек и «проводит культурную революцию». Или не понимает словосочетания «культурная революция», или, напротив, оседлал его. И этот перевёртыш! И этот стоит вверх ногами! Хоть телевизор не включай! Дмитриев схватил пульт, перешёл на «Меццо».

Хоть там пока всё нормально.

И сразу защемило сердце – «Баркаролу Шуберта» играл старый-престарый Альдо Чикколини. Итальянский пианист. Играл свою коронную вещь. Казалось, согбенный старик дышит этой музыкой. Это его воздух. И когда затихнет баркарола – он умрёт.

Сразу вспомнились отец и мать. Как уговаривали они его не ехать в Свердловск, не предавать музыку. Как торопились за вагоном, махали и махали, точно прощались с ним навсегда.

Дмитриев достал платок. Вытирал глаза. Совсем слезливым стал. Судорожно глубоко вдохнул, точно вернул себе комнату, действительность. Стал собирать посуду со стола.

Зазудел мобильник.

– Да, Екатерина Ивановна. Здравствуйте.

Городскова предлагала помочь на даче. С весенними работами. Завтра она выходная. Могла бы с вами поехать. А, Сергей Петрович?

Дмитриев привычно надулся, сказал, что только что оттуда. Всё сделал. Очистил от мусора, вскопал грядки. (Какого ещё чёрта! Какая помощь!)

Но Городскова не отставала:

– Так можно уже посеять редиску и морковь. Самое время, Сергей Петрович. Даже Рома вычитал об этом. Вчера звонил, – добавила для достоверности.

Старик от имени «Рома» – качнулся. Так в боксе откиды-

ваются, получив удар. К примеру, левый хук.

Пришёл в себя:

– Конечно, Екатерина Ивановна. Завтра в девять. Жду вас на остановке. Вы знаете, на какой.

На дачу ехали плечом к плечу. С рюкзаком и большой сумкой на коленях. Городскова была в штормовке. Платок на голове повязан по-пиратски – лихо.

Через час прибыли на место. Солнце было ярким, но обдувал ветерок, и было свежо, не жарко.

Старик Свищёв, выйдя в свой двор по нужде, опять раскрыл рот: теперь уже дом Дмитриева стоял будто весь выпотрошенный. Матрацы, одеяла, старая одежда, пальто, телогрейки висели везде. На бельевых верёвках, на заборах, на сарайке. Какая-то бабёнка бегала и лупила палкой. Вот Дмитриев попа-ал, – забыто сеялась моча. Как из лейки.

К обеду все же дошло до посадки. Дмитриев довольно умело сооружал грядки. Рыхлил граблями, ровнял. Городскова переходила за ним, тыкала палочкой, в лунки кидала по зёрнышку.

Со своего участка Свищёв всё выглядывал. С мохнатым лицом, как с избушкой. Жена? Любовница?

Городскова его не видела. Работая, сгибаясь, выводывала у Дмитриева о даче. Как заяц косясь на разинувшегося Свищёва, Дмитриев двигал граблями, объяснял:

– ...Я-то рос в большом городе, никаких огородов и дач

у нас не было. А Надя с матерью из деревни. Когда в техникуме стали давать землю, она сразу загорелась. Подвигла меня взять шесть соток. Хотя это совсем не моё. Она с матерью копалась в огороде, я только помогал нанятому плотнику строить дом. Пилил, подносил, удерживал. Сам постепенно нахватался. Сарай, уборную, калитку, все заборы – уже сам. Можно было всё давно продать. Но память. О жене, о сыне. Да и сам привык сюда ездить. Тем более сейчас. Когда свободен как ветер.

Екатерина спросила, любил ли Алёша бывать на даче.

– Так он вырос здесь. С апреля по сентябрь жил здесь с бабушкой. Мы-то с Надей только в субботу-воскресенье. А он все дни здесь. И река тут под носом, и рыбалка, и лес на той стороне, и грибы там, и ягоды. И друзья здесь у него были. Как утро, как солнце – несутся на речка купаться... Думаю, что и Роме тоже здесь понравится.

Часов в пять собрались, отправились домой. Разломанный дом Колобродова казался брошенными баррикадами. Дмитриев рассказывал его историю.

Невольно оба думали о судьбе другого дома. Который оставили за спиной.

Не оборачивались.

Городскова готовила укол. Бодрый Звонкин уже сидел на лежаке, как всегда посмеиваясь, говорил. Рыжий хохолок его был стильным, – петушковым. Этот доживает свою жизнь весело. Не то что Дмитриев. Стариковская желчь и уныние – это не для Звонкина. Он только что сошёл с бильборда на улице. Где он, румяный гипертоник, показывал всем депозит, полученный в «Альянс банке».

– Ложитесь, Андрей Иванович (хватит болтать!).

Тут же кувыркнулся на бок. Задрал рубашку. Этот и умрёт на бегу, мазала спиртом Екатерина. Интересно свести их вместе. Дмитриева и Звонкина. Желчь и пламя. Что бы получилось?

Едва придавила ватку – вскочил. Подхватил брючонки, побежал.

– Машка – на выход! – подмигивал возле раскрытой двери Екатерине.

Вошла его рыхлая «Машка». Зло глянула на мужа – балабол чёртов!

Серьёзно относящаяся к своей болезни, двинулась к лежаку, опираясь на палку.

– Ну, Машка – молоток! – прямо-таки заходился Звонкин.

– Да уйдёшь ты отсюда или нет?.. Вы уж извините его, – откладывала костыль, устраивалась на лежаке, чтобы раздеть-

ся, «Машка».

Улыбаясь, Екатерина Ивановна сломала ампулу, стала набирать в шприц.

Ближе к концу работы собрали всех в большом кабинете Вебер Ольги Герхардовны. Главврача.

Терапевты и Толоконников с достоинством расселись вдоль длинного стола. Все они были с висящими рабочими червями фонендоскопов. Медсёстры и санитарки фонендоскопов не имели. Стояли вроде бездельниц, стеснительно заминая руки.

Крупная женщина в белом халате не торопясь перебирала на столе бумаги. Профессионально держала сценическую паузу. На ней не было фонендоскопа. Однако по напряжённым её глазам было видно всем, что под толстым лбом с зачесанной назад мужской стрижкой идёт сейчас большая ответственная работа.

– Все собрались? Хорошо. Из департамента сегодня спустили вот эту бумагу: 1-го мая быть всем на демонстрации. Сбор в девять у нашего входа. Раздадут всем шары, ветки, плакаты и так далее. Всем понятно?

– Но ведь вроде бы отменили парады и шествия 1-го мая, – возразил Толоконников. – Только гуляния сейчас разрешены, Ольга Герхардовна.

– Нет. Сейчас всё возрождается. Всё будет, как прежде.

– А если на дачу кому? – встряла Городскова.

Опять эта Городскова! Стоит впереди всех. Расставила крепкие ноги. В синей вольной рубаше, как вольный казак.

Прямой потомок крестоносцев нахмурилась:

– У вас нет дачи, Городскова.

– Уже есть, Ольга Герхардовна, – чуть не сломала язык на отчестве бесстрашная Городскова.

И ещё смотрит, главное, с превосходством, с насмешкой. Однако – оперилась. Пора повыдёргивать перья. На Городскову исподлобья глянули тёмные глаза:

– Вам что, Городскова, больше всех надо? Я вам могу устроить отдых для работы на даче. Постоянный. Идите лучше, работайте! (Пока не передумала.)

Все словно воспрянули от этой короткой перепалки медсестры с начальницей – выходили из кабинета оживлённо. Будто бы с победой. Толоконников тряс руку Городсковой. Молодец, Екатерина Ивановна! Дескать, уважаю за смелость. А что, собственно изменилось, удивлялась Екатерина. Чему радоваться? На площади топать и кричать-то все будут как миленькие.

Плывущими шарами, транспарантами, плакатами, портретами, трепещущими белыми ветками была заполнена вся улица Ленина. Разноцветная толпа словно боролась со своей разноцветностью, стремилась вдаль, к главной площади города.

Екатерина Ивановна шла с портретом президента в сере-

дине объединённой колонны медиков. Подвыпивший Толоконников обнимал её, учил петь и маршировать со всеми: «И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт! Екатерина Ивановна!» – топал он в такт песни. Впереди и позади вопили оркестрики. Каждый своё. Ничего нельзя было понять. Но Толоконников всё упорно учил, понуждал. Хотелось лягнуть его.

Вдруг увидела Дмитриева в кепке и плаще. Ехидный старик будто крался по тротуару. Словно бы даже хихикал: опять ведут баранов. Но от толпы не отставал. Шагал даже в ногу. Его словно тащили за шкуру с толпой. Однако как бы самого по себе. Советская привычка. Рефлекс.

Екатерина Ивановна кричала ему. Немо, опасно махала портретом позади Вебер Ольги Герхардовны, но он не видел её, не слышал.

На площади было странно кричать «ура» неизвестно кому – ни трибуны, ни отцов города на ней. На здании администрации только где-то прятались громкоговорители, и то мужским, то женским голосом выдавали лозунги.

– Да здравствуют наши славные работники медицины! Ура-а!

– Ура-а! – нестройно кричали в ответ и всё оглядывались. Словно искали диверсантов.

Дмитриев потянул куда-то в сторону. Не дошёл даже до Ленина с курковой кистью руки.

Городскова сунула портрет на палке Толоконникову, побежала. «К-куда?!» – успела только крикнуть Вебер. Ольга

Герхардовна. Ну погоди, упрямая чертовка!

– ...Ведь попёрся, Екатерина Ивановна, – шёл и говорил Дмитриев. – Попёрся! Ноги потащили. Какая «солидарность трудящихся»! О чём вы говорите! Где она сейчас? Какие протесты? Всё те же надувные шары и портреты. Всё к тому же Ленину. Хотя бы трибунку для приличия поставили. Надулись бы на ней. Но нет – теперь призывы только по микрофону. Исподтишка. Спрятавшись в здании. Как инквизиторы.

Сидели в парке неподалёку от детской площадки с бегающими детьми. Старик отходил от желчи, рассказывал свою жизнь:

– Никогда не стремился в партию. Хотя тащили. Особенно жена. Однажды, также в первом ай, бросил портрет Хрущёва. В проходном дворе. В мусорку. И как Бог наказал: упёрся в тупик, в забор. Назад нельзя – демонстрация, свои маршируют. Увидят без портрета. Полез через забор, свалился и сломал руку. Домой пришёл с загипсованной рукой. На перевязи. «Ты где был?» – спросила жена. Анекдот.

Покачиваясь, подковылял самостоятельный карапуз. На круглой голове бейсболка по-молодёжному – козырьком набок. С изумлением смотрел на большой вислый нос старика. Такого носа явно ещё не видал.

Дмитриев подался к нему, протянул руку. Карапуз ухватился за его указательный палец. Другой ручонкой стал тро-

гать нос, изучать. Дмитриев снял кепку, чтобы исследователю было видней. Карпуз сопел, трогал. Городскова отворачивалась, ударяемая смехом.

Подбежала молодая мама, подхватила хулигана, понесла назад, к песочнице. Оборачивалась, извинялась.

Старик смотрел на сердящегося малыша в бейсболке:

– Знаете, Катя, я уже говорил однажды. Одному хорошему человеку: только дети делают нас людьми. Только дети.

Екатерина смотрела на ушедшего в себя старика. Щемило душу, наворачивались слёзы.

Дмитриев поднялся:

– Ну что, Екатерина Ивановна, пойдём, отметим праздник? Ко мне или к вам?

Не торопясь, пошли к выходу. Екатерина держала старика под руку. Шла с ним в ногу. В парке остался кричать детский птичник.

Глава седьмая

1

Дмитриев всё так же думал (уверял себя), что только прошлое гнёт стариков к земле. Воспоминания. Поэтому стремился смотреть больше вперёд. Не оглядываться. Прошлое своё бросив где-то там, за спиной, за горизонтом.

Однако прошлое это его, брошенное за горизонтом, почему-то упорно возвращалось. Напрочь вышибало действительность. Дмитриев вдруг обнаруживал, что сидит в так называемой задумчивости (без дела!) полчаса или час. Он даже смотрел на часы. Безобразия! Тут же вставал и начинал делать махи. Пресловутые. Ногами. К вытянутым рукам. Или срочно искал себе дело. Чёрт знает что такое!

Но всё чаще и чаще, где-нибудь в городе, вдруг замедлял шаги и садился на первую попавшуюся скамью. И сидел очень прямо, точно стукнутый в лоб колотушкой. В такие минуты всегда вспоминались без вести пропавший сын и следом за сыном истаявшая жена.

В первый месяц, как пришло извещение, Дмитриев почти каждый день шёл в военкомат. Как на работу.

Военком, подполковник Кашин, злился:

– Сергей Петрович, я же вам русским языком говорил и

говорю: всё у нас под контролем. Имеем прямую связь с канцелярией фронта. Если появится что-то новое о вашем сыне – сразу нам сообщат. (Чего же вам ещё!)

Возле большого тумбового стола раздражённо ходил крепкий мужчина в кителе с орденской колодкой и военным поплавком на правой стороне груди.

Дмитриев сидел на стуле. На стене висели два маршала при полном параде. Бровастый генсек и министр обороны в очках канцеляриста. Два корефана, два серьёзных подельника. В Афгане устроившие заварушку.

– Так, может быть, всё же связаться с частью, где сын служил. – подсказывал Дмитриев. – Там-то наверняка лучше всё знают. Как он пропал. При каких обстоятельствах. (Эти разговоры были ещё до поездки в Ташкент, до встречи с Олегом Баевым.).

– А вот это – ни в коем случае! Не имеем никакого права. Ни номер части знать, ни дислокацию её. Повторяю – всё только через канцелярию фронта. Ждите!

Дмитриев выносил из кабинета образы двух непрошибаемых маршалов на стене и рыскающего под ними злого подполковника.

Однако каждый раз возвращаясь вечером к убитой горем жене... утром снова шёл и поднимался по ступеням двухэтажного здания с решётками на окнах.

Однажды в обеденное время увидел Кашина в длинном военкоматском коридоре. Тот только что вышел из туалета.

Вытирал платком руки. Но, увидев его, Дмитриева, тут же нырнул обратно. И закрылся там, видимо, на все защёлки, какие были.

Больше в военкомат Дмитриев не ходил.

В техникуме Надя ещё держалась. Дома почти всё время плакала. Глаза с распухшими красными веками сочились как нераскрывающиеся раковины. Дмитриев не умел утешать, мучился, потом отупел. Почти не разговаривали. Спали в разных комнатах. Утром что-то ели на кухне, потом собирались, шли на работу. Их вёл бесснежный провальный, как сизая яма, февраль.

Смертельную болезнь жены Дмитриев проглядел. Почти девять месяцев все её недомогания, боли в костях, сильную потливость по ночам, когда приходилось даже менять простыни, головные боли, частые простуды – всё это, казалось ему, из-за её нескончаемого переживания. От её слёз по ночам. От тоски по сыну. От неизвестности о нём.

На торжественном собрании в техникуме по случаю начала занятий 1-го сентября, когда она шла к сцене, чтобы сесть в президиум, Дмитриева впервые резанула её худоба. Точно увидел её из зала не своими – чужими глазами. Всегдашний безукоризненный женский костюм стального цвета, в котором она любила разгуливать и диктовать студентам письменные работы – висел на ней. Как на подростке, как на каком-то Петере из фильма. Среди других весёлых, переговаривающихся преподавателей она сидела словно бы одна, с

пепельным лицом, с волнистыми белыми цветами на впалой груди, раскрывшейся в пиджаке как могилка.

Тогда же, в сентябре, к Дмитриеву прибежали прямо в аудиторию, во время лекции: «Надежде Семёновне плохо!» Дмитриев бросился следом за двумя девчонками.

В окружении студентов, только что поднятая с пола, Надя сидела на стуле, торопливо оправляла юбку, говорила, что всё в порядке, просто закружилась голова, сейчас всё пройдёт. Увидела вытаращенного мужа, опустила глаза. «Надя, что с тобой?!» – подбежав, как в театре воскликнул Дмитриев. Поднял со стула, повёл зачем-то в учительскую. Только оттуда вызвал, наконец-то, скорую.

Пожилой врач скорой, проделывая обычные стандартные манипуляции (измерение давления, температуры, прослушивание фонендоскопом), дотошно расспрашивал лежащую пластом больную в серой юбке и чёрной открытой комбинации. И, быстро почеркав авторучкой в своих документах, повёз в дежурную больницу вместе с Дмитриевым. Заподозрил у женщины неладное. И, как оказалось, не ошибся. В больнице, в первом же заборе крови обнаружили острый лейкоз. Дмитриеву не сказали об этом. «Идите домой, жена ваша полегит у нас на обследовании».

Сейчас, по прошествии стольких лет, помнилась только большая палата на третьем этаже отделения гематологии, заставленная кроватями с сидящими и лежащими женщинами в халатах мышинового цвета. Всё они поворачивали головы,

когда он входил и здоровался. И сразу равнодушно отворачивались, чтобы продолжить свои бесконечные разговоры или покачиваться сомнамбулами с подвёрнутыми ногами, о чём-то думая. Лежащая жена словно тоже его не видела, смотрела в потолок.

Он присаживался к ней, сразу начинал доставать из сумки принесённую еду, тянулся, ставил судки с горячим на тумбочку.

Убивала её хужоба. Она почти ничего не ела. Он подносил ложку с супом, уговаривал, просил. От химиотерапии у неё стали сильно выпадать волосы. Остриженная, она походила на чёрно-белую фотографию узницы из лагерного архива Освенцима. Выполненную фашистом-фотографом с немецкой добросовестностью и даже художеством – из больших глаз обречённой жертвы зримо высвечивала смирившаяся, равнодушная душа. Дмитриев не мог смотреть в такие глаза жены, рука с ложкой начинала дрожать. Отворачивался.

15го декабря, когда он пришёл в отделение, ему сказали, что жена умерла. Глубоко сожалеем. Пока не увезли в морг, можете проститься с нею.

Его завели в сизую комнату без окон, высвеченную высокой голой лампочкой.

Надя лежала на обычной кровати. Серый больничный халат её сливался с серым одеялом. Пепельное лицо с закрытыми глазами было спокойным.

Он выпрямленно сидел на табуретке. Держал мёртвую, в

холодной испарине руку. Слёзы жгли. Как горячий ландрин.

Его тронули за плечо.

Встал, как слепой хватаясь за спинку кровати. Вышел.

По улице передвигался словно надорвавшаяся лошадь, готовая пасть, – раскачиваясь, задирая палочные ноги и оступаясь. Люди думали, что он просто пьян. Большой левый глаз его был чужим на лице, стеклянным.

После похорон автоматом ходил на работу, как-то там преподавал. Сильно похудел. Лысина просунулась вверх вроде Монблана из ледового серого венца. Коллеги покачивали головами: эго перевернуло беднягу.

Новая учительница русского пугалась в учительской Дмитриева. Когда тот выходил, за стол Надежды Семёновны садилась с опаской. Так боятся жилья недавно умершего человека. Белобрысые глаза блондинки испуганно искали оставшиеся следы от этого умершего человека. А?

2

Установленный высокий баннер у входа в метро «Тёплый стан» походил на связанного по рукам и ногам робота с круглой головёнкой. От неудобства так стоять робот криво закусил букву М.

С большим рюкзаком на спине Рома возле робота ждал отца, добывая в планшете шахматную задачу. Утреннее солнце отскакивало от лужиц на асфальте, слепило.

Появился отец с купленной пачкой сигарет. Окутываясь дымом, торопился напиться зельем возле мусорной урны. Целое утро не курил. Мама спрятала или выкинула сигареты. Бросил наконец окурочок. «Идём!» На ходу заложил обратно сыну в рюкзак его планшет.

Рома шёл к входу, хмурился. Сколько мама пилит его из-за курёшки – бесполезно. Прячется. Чаще на лоджии. Дескать, поливаю цветы. Приседает там. Дым стелется над цветами. Он его разводит рукой, разгоняет. Дескать, идёт опыление. Селекционер. В туалете он. Газовая камера. «Ты когда бросишь курить?!» – кричит мама.

Вагон битком, но сразу удачно сели у входа. Папа в чёрном строгом костюме, белой рубашке и галстукке. Никаких кед и джинсов. В министерстве с этим строго. А табаком всё равно несёт. И от руки, что тебя обняла, и от всей головы и лица сожатыми, как у партизана, губами. Весь пропитался! Почему

ему в министерстве не запретят курить?

Вагон летел, тесное молчаливое большинство покачивалось, разглядывая потолок. С рюкзаком пригнувшийся Рома смотрел на свои кеды и легкие пёстрые штанцы по щиколотку. Всё же с одеждой в школе демократичней, чем у папы на работе.

У выхода на Арбатской попрощались. Валерий Алексеевич, сразу закурив, пошёл направо в своё министерство, сын с увесистым рюкзаком к подземному переходу.

Выйдя к церкви, похожей на тесную луковичную посадку, пошёл к школе, не похожей ни на что. Просто к стенам её и окнам.

На входе уже поджидала Танька Станякина из параллельного. И чего вяжется!

– Привет, Город!

Хм. «Город». Рюкзак на самой как на искривлённом гвозде – и туда же!

В коридоре не отставала. Пока не согласился пойти после школы в «Повторный фильм» на комедию «Этот безумный, безумный, безумный мир». И с самым большим, наверное, на свете школьным рюкзаком, в который поместилось всё: и учебники, и книги, и тетрадки, общие и простые, и шахматная доска с шахматами, и два планшета – вошёл в свой 6-ой Б.

– Люди, Город пришёл, – удивлялись рюкзаку и выносливости толстого Ромы сокласники.

Серёжа Антонов поспешно вскочил, чтобы Рома пролез к окну и скинул быстрее рюкзак.

Рома сел и начал выкладывать из рюкзака на парту. Чтобы всё было под рукой. Всё не помещалось на парте, приходилось многое на подоконник.

– Запасливый Рома Город, – продолжали удивляться вольно рассредоточившиеся по классу девчонки и мальчишки. В майках, футболках, джинсах, шортах и штанцах.

Приглашённый доцент Селивёрстов или просто ленился писать на доске, или тайно любил цирк:

– Городсков!

Подавал кучерявому толстому мальчишке в белой футболке распечатку с контрольными уравнениями. Тот, глянув на них только раз, как фокусник тут же возвращал и начинал наколачивать мелом на доску густую интегральную кашу.

Селивёрстов ждал, гоня пальцами карандаш. В очках с большими диоптриями, из арсенала подводного капитана Немо. Затем поворачивался и с деланным удивлением смотрел на кучерявую черепушку, сумевшую всего за полминуты заварить всю эту кашу на доске. По памяти. Расхлёбывать которую придется остальному классу в течение урока.

– У тебя и решение есть, Городсков?

– Да, Герман Валентинович.

– Напиши, – пододвигал листок и ручку.

Рома быстро писал решение.

– Верно, Городсков. Молодец, садись, пять.

Остальные уже пускали слюну. Что тебе гончаки. Начинали быстро переписывать уравнения. Яростно задумывались. Двоечников в математическом классе не было. Но с Ромой Городом не поспоришь, нет.

Подпершись кулаком, Рома смотрел в окно. Сначала на прохожих, потом на церковь. На красивую связку луковок её.

К входу, как кузнечик, подскакал нищий на костылях. Замер. Изготовился, поджав подбитую лапку. Ему тут же начали кидать в привязанную кружку. И выходящие прихожане, и входящие. Наверное, очень радуясь, он умудрялся всё время креститься, не роняя костылей.

Рома хотел поделиться увиденным с Серёжей, подтолкнул даже его, мол, смотри. но тот отмахнулся. Был весь в гонке: первые пятеро, кто сдаст решённые работы, получают пятёрки. Остальные хоть и сдадут, но вроде неудачников останутся. Только с четвёрками. Такая идиотская метода у нашего приглашённого доцента Селивёрстова. С его подводными иллюминаторами. От капитана Немо.

В столовой Рома сидел с Серёжей за одним столом. Как и в классе за партой. Чувствуя за спиной нависшую маму, старался сдерживать себя в еде. Ел морковку и капустку. Тощий Серёжа жалостливо смотрел. Пододвигал свой бифштекс с картошкой и подливкой. Или сладкий коржик с чаем. Рома боролся с собой. Ну разве только половинку коржика. Хватит, хватит, не надо весь! Тут ещё Станякина всё время вскакивала, махала из угла. Будто про неё забудут. Тоже сейчас

припрёт сюда весь свой поднос.

Едва на входе билетёрша оборвала на билетах контроль, Танька сразу потащила к мороженому.

В буфете с зеркальной стеной заказала себе высокую чашечку на ножке, полную белых шариков. Не отходя от стойки, начала запускать в рот ложечку за ложечкой. М-м, вкуснятина!

Буфетчица, вытирая стойку, ждала решения двух мальчишек. Рома опять боролся с собой. Из последних сил. Не предавая друга, Антонов тоже. сдерживался.

– Что, чуваки, денег нет? – спросила Танька, облизывая ложечку. – Я дам.

– Да нет, есть. Мы просто не хотим сегодня мороженого, – наступил всё же на горло собственной песне Серёжа. – Нам лучше сегодня «спрайта» выпить. Две бутылочки, тётя.

Отошли к высокому мраморному столику.

Танька сразу подвесила рюкзачок под столик на крюк. У неё, наверное, кроме расчёски и зеркала в рюкзаке и не было ничего. Орюкзаченные Рома и Серёжа уныло цедили сладенькую зелень. Косились на Таньку. А у той глазёнки разбегались. Так много было белых шариков. Э, старается. Коза длинноногая. В шортиках. Да ещё чёрную майку напялила. С красной звездой и белыми буквами СНЕ. Мол. я чегеварка. Э-э. революционерка.

В отличие от легкомысленной Таньки в зале сидели се-

рѣзно. С рюкзаками на коленях, как два парашютиста перед прыжком. Однако на американской комедии смеялись вместе с Танькой, хохотали, дрыгали ногами. Словно забыли, что нужно прыгать в бездну, лететь к земле, кувыркаться. И раскроются ли их парашюты – неизвестно. Из-за смеха мальчишек «парашюты» колотились о соседний ряд так, что зрители удивлённо оборачивались. «Полегче, молодёжь!»

Оживлённые после фильма, пошли опять к Арбатской, к школе. Обсуждали фильм, хохотали. Танька гнулась, сучила голыми ногами, точно сильно хотела в туалет. Серёжа и Рома так круто сгибаться не могли – мешали рюкзаки. Поэтому хватались за ремни рюкзаков и хохотали в небо.

Прежде чем расстаться на арбатской площади, договорились через два дня пойти в «Повторный» на ещё один отпадный фильм. На «Большие гонки». И разошлись в разные стороны.

Словно забыв про свой тяжёлый рюкзак, Рома опять сидел в летящем, покачивающемся вагоне. Улыбался, вспоминая фильм. Молчаливому большинству было свободнее в полуденное время. И стояло, и сидело. Могло посмотреть даже в окно. То на летящий скользкий кафель, то на вислый свет очередной станции.

В поезд подняла чемодан около двенадцати ночи. Взяв у проводницы бельё, в пустом купе постелилась на нижней полке и под мерный перестук почти сразу уснула.

Утром где-то стояли. На фоне коротких звуков станции, за спиной слышался старушечий воспрянувший голосок:

– ...Он сапожник у них. Раньше, бывало, от клиентов отбою не было. Драную обувь несли и несли. А сейчас – как отрезало. Как иголку проглотил. Сидит дома, скаргатаёт зубами. Аж желваки на скулах ходуном. А она живая, носится по комнате. Всё делает. Расторопная как веник... А когда он напьётся – то строит их. И жену и дочь...

Екатерина Ивановна повернула голову. Две женщины в пёстрых платьях. Сравнительно молодая и старая. Старушка. Из одной деревни, видимо. Старушка сразу закивала:

– Проснулись? С добрым утречком вас!

Екатерина Ивановна поздоровалась. Села, оправила халат.

– Далеко едете? – уже спрашивала старушка. С личиком как светёлка. Не ответить которому было невозможно.

Весело теперь однако будет в купе. Екатерина нехотя отвечала, доставая из сумки зубную пасту, щётку, мыльницу. Сдёрнула со стенки казённое полотенце.

– А мы тоже в Москву, – не унималась старушка. – Я к

своему старику в глазную. А Галя (пёстрой тумбой со скрещенными руками сидит рядом) проводит меня. И к родной сестре.

Да, конечно, очень приятно. Городскова протиснулась, наконец, к двери, вышла и двинулась в сторону туалета. Поезд уже летел. Падали и взмывали провода. Уходили от поезда к горизонту далёкие осолнеченные поля и перелески.

Понятное дело, начался потом общий завтрак с чаепитием. Старухи выкладывали на столик, угощали. Екатерина не отставала, доставала своё, тоже домашнее.

Разговор, конечно, шёл о болезнях. О лечении их. Городскова, о том, что работает в поликлинике, что медсестра – молчок. Ни-ни. Упадут на хвост и не слезут до самой Москвы. Когда её спрашивали, что она думает *об этом лекарстве* – запирала дыхание. словно искала в нём, мутящемся в груди, ответ. И тогда за неё сразу отвечали, и можно было дальше дышать.

Старушка рассказывала о муже:

– ...Захворавший пёс он как всегда? – он бежит, тащится, ползёт. На огород, в поле, в лес и находит там нужную травку, листик, корешок. Так и старик у меня чутьём находил нужное лекарство в аптеке. Без всяких врачей. Никогда не ошибался. Простуда там, желудок. А вот с глазом промашка получилась. Залечил. Чего он только не привязывал к нему, чего не капал. Долечился. В Москве вот удалили. Теперь без глаза, как Фантомас изуродованный. Вот еду за ним.

Которая помоложе (Галина со скрещенными руками) поглядывала на подругу недовольно, с осуждением: зачем рассказываешь про такое посторонней? Но Анна Дмитриевна (так звали старушку) всё говорила и говорила. Она знала хорошо, что только в поезде и можно рассказывать попутчикам о своём больном или сокровенном. А как вышел из вагона – шабаш: все опять чужие, посторонние тебе. Да, Галина. И не спорь.

На площади трёх вокзалов расстались однако тепло. Екатерина, мня себя уже москвичкой, нашла и посадила подруг в такси. Помахала вслед. И с чемоданом на колёсиках сама спустилась в метро.

На Арбатской площади везла чемодан дорогой внука: сначала к подземному переходу, затем к красивым луковкам церкви.

В вестибюле школы – ждала. Поглядывала на вахтёршу в чёрном халате и умирающего от скуки охранника, который, висая на стуле, тыкал что-то в айфоне. Видимо, играл в войнушку или в надоевшие нарды.

Резко прозвучал звонок. Чуть погодя побежала к выходу мелкота с рюкзачками. Потом постарше девчонки и мальчишки заполнили коридор.

Надувшись, что тебе гуру, Рома шёл в сопровождении девочки и мальчика. Высокие и худые в сравнении с ним, они приклонялись к нему с боков, внимательно слушали.

Окликнула.

Нисколько не удивился. Подошёл с эскортом.

Пока обнимала его вместе с рюкзаком, сердился, недовольно говорил:

– Почему не позвонила? Я бы тебя встретил на вокзале.

– Как, Рома? Удрав с уроков?

Эскорт вежливо смеялся. Рома представил друзей: Таня, Серёжа. Екатерина Ивановна тронула сразу поджавшиеся руки. Девочки и мальчика.

Двинулись было к выходу, но сзади послышался голос: «Минуточку!» Подошёл учитель в очках с большими диоптриями. Представился. Отвёл Городскову в сторону. (Оставшаяся тройца замерла с её чемоданом на колёсиках, внимательно наблюдала.)

Екатерина Ивановна не могла сначала смотреть в очень увеличенные очками глаза. Но педагог говорил про Рому только хорошее, и глаза эти его каким-то волшебным образом превращались за стеклом в двух добрейших плавающих осьминогов, оторвать от которых взгляд уже не могла. «Спасибо, вам, спасибо, Герман Валентинович!» – трясла руку педагога Селивёрстова.

– Что он сказал? – встретил недовольный Рома. Вместо ответа Екатерина Ивановна крепко притиснула его к себе. Сказала:

– Пошли, ребята!

Жилистый Серёжа подхватил чемодан Роминой бабушки и снёс с трёх ступеней. Дальше уже покатил.

Возле метро Екатерина Ивановна купила детям мороженое. Но только Тане и Серёже. Обещав внуку мороженое дома, в обед. Рома с тоской посмотрел на летящего куда-то одинокого голубя, забрал у Серёжи чемодан и повёз впереди бабушки.

Жестокая однако эта бабашка Ромы, Екатерина Ивановна, – смотрели Таня Станякина и Серёжа Антонов.

Потом развернули мороженое. Брикетное, сливочное. По тридцать рублей большая порция.

Городскова не видела сына полтора года. Со времени переезда из Сургута. И поразила перемена в нём. Вместо всегда свежего, в меру упитанного мужчины тридцати пяти лет, вечером приехал домой уставший, вконец измотанный человек с худым серым лицом и жёлтыми белками глаз. Мимходом, даже не удивившись (как и сын его, Рома), поцеловал мать и сразу пошёл в ванную, на ходу бросая галстук и снятую рубашку.

В ванной долго шумела вода. За столом хмурая Ирина докладывала, что опять начал курить. Полгода как. Дома ему не дают, так накуривается на работе. До усёру. Прожелтел весь, провонял. Начальник курит, и они все стараются. Постоянные заседания наркоклуба, мама.

Под шумок Рома попытался взять ещё одну куриную лапу. Поджаристую, сочную. Тут же получил по рукам.

Так, понятно. Война на два фронта. С курением мужа и обжорством сына. Екатерина Ивановна не знала, на чью стать сторону. Но когда переодетый сын подсел к столу, вновь увидев его куполообразный лоб, весь иссечённой морщинками, невольно воскликнула:

– Ты что же это, а? Ты что делаешь с собой! Ты не курил пять лет! И сейчас – опять?

В глазах матери (медсестры!) пылала вся медицина, все

болезни: рак лёгких! инфаркт! инсульт! бронхит! астма! туберкулёз! – Мало тебе, а? Мало?!

Пока два голоса наседали на папу, Рома опять было потянулся. И опять получил. Охрана. Бдительная. И папа теперь уже точно сегодня не покурит. Ни выглядывая из цветов, ни в туалете. Оба попали под раздачу. А ещё, главное, обещали мороженое.

Подпершись рукой, Рома смотрел в телевизор. Из длинного автобуса вылезали хоккеисты. Со своими клюшками и громаднейшими баулами на колёсиках потащились к Дворцу спорта. Как какие-то переселенцы. Из гостиницы им нужно на ледовую арену. С ледовой арены – снова в гостиницу. Вечные переселенцы. Света белого не видят. Зато едят, что хотят. И никто их не ругает.

– Ну, чего загрустил? – подошла сзади и обняла бабушка. Как фокусница, поставила перед внуком тарелку: – Вот твоё мороженое. – А увидев восстающее над столом возмущение Ирины, подняла руку: – Спокойно! Я ему обещала. Ещё днём.

Валерий Алексеевич Городсков после крутого «наезда» двух женщин виновато ел, не поднимал глаз.

Екатерина Ивановна уже с жалостью смотрела на высокий лысый череп с кустиком волос на макушке. Казалось, что внутри этого черепа какие-то нейроны нестойки, беззащитны перед алкоголем и табаком. Как целые народы Севера... Счастье, что не пьёт. Не может пить. Пьянеет от рюмки.

От бокала шампанского. Как тот же чукча, эвенк. Перевела взгляд на сноху: а мы его долбим за курёшку.

Хмурой Ирине было уже не до мужа – смотрела на пригнувшегося сына. Загребающего и загребающего маленькой ложечкой. Так и хотелось дать по глупой башке!

Утром, проводив всех, больше по советской привычке (как же, прибыла в Москву!) Екатерина Ивановна поехала в центр.

В полупустом летящем вагоне гуляли сквозняки. Пропавшие теплостановские москвичи покачивались, сцепив руки, думали о жизни.

На Красной площади было пустынно. На самом горбу её, возле мавзолея, точно боясь потеряться, теснились к экскурсоводам две-три группки голоногих иностранцев. Задирая фотоаппараты и сотовые, снимали почему-то только стены Кремля. Правда, когда Спасская заиграла железом – вздрогнули и все, как один, направили объективы на неё. Приходили в себя, опуская сотовые и цифровые фотоаппараты. Мраморную большую избу с Лениным и часовыми словно бы и не видели.

Утренний, весь золотой Василий Блаженный приобнял и пышный зелёный куст, и Минина с Пожарским с одной их вскинутой рукой.

Постояла, полюбовалась. Направилась в ГУМ.

В советские времена ГУМ внутри напоминал двухъярус-

ную большую американскую тюрьму, в которой вдруг разом освободили всех заключённых. Сейчас заключённых словно бы загнали в камеры обратно – в универмаге было пусто.

Екатерина Ивановна бесцельно слонялась по стеклянным бутикам. Всё везде было то же самое, что и в провинции сейчас. Правда, такого сияния ювелирных изделий и часов провинциалы не видали никогда. Екатерина Ивановна с опаской поглядывала на чопорных чоповцем, приставленных к этим сияниям.

Ближе к одиннадцати уже ходила по залам Третьяковки. Тесным от картин. Здесь и людей было больше. С уважением постояла перед народной артисткой Марией Ермоловой. Как перед высокой и очень гордой иконой.

В двенадцать опять мчалась в вагоне метро. Готовить Ромке обед, а его отцу и матери ужин. Стиснутой со всех сторон, людей хотелось расталкивать, лягать. Но терпела. Вытолкнулась на своей станции. На станции Тёплый Стан. На станции будто в сплошных товарных контейнерах. Поставленных в два эшелона. Чёрт бы их побрал! Шла посреди измятой толпы, возвращала на место сбитую на бок юбку, управляла белой кофточку с воланами.

За неделю пока ждала Ромку, чтобы везти на лето к себе, его мать два раза не ночевала дома. Звонила часов в семь Валерию и говорила, что останется на ночь у родителей. «Всё у вас в порядке?» – «Да, да! не волнуйся!» – радостно отвечал

смурной недотёпа. Походило, что «ночёвки у мамы» повторяются регулярно.

Москва удобный город для интрижек. Большой, безопасный. Днём, когда жена якобы на работе, поймать её на измене невозможно. Однако нашей жене, видимо, дневных свиданий стало мало. Нужно и ночки прихватывать.

Ирина говорила, избегая взгляда свекрови:

– Просто сильно устала вчера, мама, и не хотелось тащить-ся к метро.

Подпускала леща:

– У нас же в доме сейчас порядок. И без меня. Ты же, мама, следишь за всем.

Свекровь молчала, месила тесто. Ирина не выдерживала:

– Должна же я отдохнуть, в конце концов. От двух этих неслухов. Устала я бороться с ними. Устала, мама!

Ирина верила в то, что говорит. Как во МХАТе. Как в предложенных обстоятельствах. Да, верила! Её можно было даже пожалеть.

Днём, когда оставалась одна, подмывало позвонить *холёной маме*. Проверить. Так сказать, алиби её дочери. Номер мамы в мобильнике был. Но оба раза удержала себя.

Дурак-сын, походило, даже радовался, что жены нет вечером дома – дымил в цветочных зарослях, почти не скрываясь. Потирая руки, торопился к своей диссертации.

Заодно был с ним и Ромка – за ужином наедался от души. Бабушка – не мама: бить по рукам не будет. Сытый, тяжё-

лый, отправлялся следом за отцом. Писал за своим столиком формулы или думал над шахматными фигурами. Тишина у них стояла – неубитую муху было слышно.

В сон падали словно бы враз. Одновременно. Когда, до-смотрев сериал, заглядывала к ним – отец, так и не сняв домашних штанов, лежал свернувшись на диванчике. Сын возлежал на диване побольше, Всегда раздетый. До трусов. Одежда была аккуратно развешена на стуле. Толстенький педант.

Екатерина Ивановна накрывала прохладной простынёю внука, выключала свет.

На перроне Казанского Ирина маяла руки. Впервые сын поедет без неё, матери. Все любовники были забыты. Чуть ли не засовывала голову в открытое окно низко стоящего вагона: «Звони каждый день. Слышишь? Утром и вечером». Рома из тёмной утробы недовольно отвечал, ждал отправления.

Валерий тоже стоял потерянно: как же я теперь без тебя, старик? Один. С ней. Не забывай, старина. Возвращайся скорей.

Екатерина Ивановна смотрела на несчастливую сведённую пару, стоящую у окна. Жалко было обоих до слёз.

– Ба, ты что? – заглядывал в лицо внук. – Мы же будем им звонить. Да и скайп у нас есть.

– Всё нормально, сынок, – вытирала бабушка глаза. – Всё

хорошо.

Вагон тронулся.

Серьёзный мальчишка добросовестно махал идущим отцу и матери. Которые уже торопились, спотыкались. Которые уже катастрофически отставали.

Ночью не могла спать. Под грохот колёс всё думала о Валерии и Ирине. О так называемых муже и жене. Спят отдельно. Не скрывают уже этого. Видимо, не тянет сын на это дело. Слабак. Как олень уже, наверное. Весь в наставленных рогах. И никакие тут большие зарплаты и премии не спасут. Не годится он для этой женщины. Не забыть быстрый взгляд его, когда спросила, часто ли так бывает. Когда не ночует. Взгляд затравленного зверя. Что будет с ним, когда разойдутся? Что будет с Ромкой?

Промокнув платком глаза, с верхней полки свесила голову, посмотрела на внука.

Внук спал как-то нахмуренно, сердито. Словно не признавал ни пролетающих шрапнелей света, ни всесокрушающего храпа старика напротив. Который влез в купе уже поздно вечером. И был сначала тихий.

К приезду мальчишки старик перевернул всю квартиру, сделал генеральную. Ковёр и коврики лупил во дворе. Потом стал закупать продукты.

По гулкому высокому крытому рынку ходил, выбирал мясо. Жирный туркмен с голым торсом и в прорезиненном фартуке по говяжьим тушам хлястал вязко. Громадным топором. Кидал большие куски ждущим продавцам, будто терпеливым собакам. Дмитриев смотрел на врубающийся топор как загипнотизированный. Туркмен посмотрел на него. Спокойными войлочными глазами убийцы. Подмигнул. Дмитриев сразу двинулся дальше. Однако из гипноза точно не вышел – зачем-то накупил целых пять кило. У разных продавцов.

Опять прошёл мимо туркмена. Словно показать ему, что вот, мол, отоварился. Вами нарубленным мясом. Не сердитесь. Рядом с воткнутым топором жирный Муртазо сидел с круглыми руками, ухватившими колени. Как палач. Ждал, когда поднесут новые туши. Старик для него был слишком костлявым.

Дома Дмитриев не знал, что с мясом делать. Однако обработав, срезав лишнее, разложив по пакетам, смог всё же затолкать в морозильник. Ну вот. Порядок. Теперь хватит надолго. «Минск» сразу начал колотиться. От возмущения,

наверное. Но ничего – пройдёт. И не такое бывало.

Из отложенных двух кусков хотел накрутить фарша для пельменей, так любимых Ромой, начал даже резать на кусочки. И остановил нож – перед глазами вдруг начал летать и хлестать топор громаднейшего Муртазо. Чёрт знает что такое! Шизофрения! Не хватало ещё после увиденного стать вегетарианцем. Перед самым приездом Ромы. Завернул куски обратно в целлофан. Положил на полку в холодильник. Лучше искрутить вечером.

Зазудел мобильник в комнате. Бросился, схватил: «Да, Рома! Слушаю!» Оказалось, что бабушка и внук только что проехали через Волгу. Длинным железнодорожным мостом. Прибудут на вокзал в два часа дня. «Отлично, Рома. Встречу». Хотел сказать «с цветами», но не сказал, закрыл мобильник.

До поезда было ещё три часа, но начал лихорадочно собираться. Как ехал на вокзал – почему-то не запомнил.

На перроне вдруг обнаружил у себя в руках какой-то свёрток. Бумажный. Плотный. Белый. Развернул – мясо. Которое собирался пустить на фарш. Для пельменей. Чёрт знает что! Альцгеймер! Полный Муртазо! А на станцию уже вползала глазастая электрическая морда, таща за собой безвольные вагоны.

Старик заметался. Побежал, бросил свёрток в урну.

Стоял перед проплывающими вагонами в своей манере – равнодушно. Вроде начальника станции. Философа желез-

ной дороги. (Приезжают. Едут куда-то. Зачем?) Однако когда поезд стал, и оказалось, что номер вагона совсем не тот, – рванул в другой конец состава.

Из третьего вагона сошли на перрон двое или трое с чемоданами. Затем появилась в дверях Екатерина Ивановна. Взмахнула рукой. Подала чемодан. Весом в килотонну. Принял. Поставил. Второй чемодан. Поменьше. Поставил. Подал руку. Ахнула на грудь. Ощутил большой живой вес. Охваченный легким платьем. Извинений не принимал. Сразу же забыл. Тянулся, хотел принять и Рому, но тот самостоятельно спрыгнул с нижней ступеньки.

– Здравствуйте, Сергей Петрович! (Хав ду ю ду?) – Деловой, без всяких сантиментов тон.

Что-то бормотал мальчишке. Хотел обнять, но не решился. Пожал руку.

Разбираясь с вещами, женщина и старик сталкивались руками, испытывали неудобство. Рома не знал что такое смущение – с заплечным рюкзаком спокойно ждал.

Пошли, наконец. Екатерина покатила чемодан поменьше. Старик отвоевал килотонный и большую сумку на плечо.

Со школьным тяжёлым рюкзаком на коленях сидел в автобусе рядом с мальчишкой. Не теряя ни минуты, в планшете решали задачку. Шахматную. Женщина (бабушка, Екатерина Ивановна) сидела где-то там, за спиной, охраняла вещи.

Дома холодильник у неё оказался пустым, размороженным. Поэтому оставив бабушку и внука помыться с дороги,

сразу поехал домой. Накрутить скорей мяса. Пресловутого. Мяса Муртазо. Чтобы можно было налепить пельменей. Для Ромы.

Накрутил. В фарш добавил воды, посолил, поперчил, перемешал.

Едва начал месить тесто, раздался звонок. Неужели уже помылись? Точно. Они. С мокрыми волосами. Ну понятно – голодные. Екатерина сразу же выдавила его из кухни. Тоже понятно. Хозяйка. Мнимая. Пришлось вымыть руки и пойти в комнату, где мальчишка уже расставлял шахматы. Точно и не уезжал никуда на полгода.

Громко, но невпопад Дмитриев отвечал Екатерине. Переставлял фигуры тоже словно бы по обязанности – мешал включённый как всегда без спросу телевизор. Помимо воли пытался понять, что там происходит. Почему такое оживление. Даже ажиотаж. Наконец, осмыслил действия молодых людей:

– Бегают, каких-то покемонов ищут. Господи! До какого кретинизма молодёжь дошла. Ни своей головы уже на плечах, ни стремления к труду. К творчеству. Только удовольствия. Покемонов ищут!

Посмотрел на замершего над фигурами Рому:

– Ты тоже бегаешь? Покемонов ищешь?

– Мне это не интересно. – Ферзём Рома съел офицера у Дмитриева: – Вам шах и мат.

Вот тебе раз! Тоже пробежал за покемоном, мат получил.

Быстро расставили фигуры. Чтобы Дмитриеву отыграть-ся.

Углубились.

Чуть погодя в телевизоре началась омоновская истерика. «Стоять! Руки назад!» И погнали несчастного нараскоряку к машине. Это для Екатерины Ивановны. Потому и включила.

– Ты тоже смотришь такое? – спросил у Ромы.

– Нет. Это мне тоже не интересно, – безотчётно говорил мальчишка, вознеся кисть над фигурами. Взял и поставил ладью на нужное, точное поле: – Вам мат, Сергей Петрович! В три хода!

Старый шахматист опять рассмеялся. В полной растерянности.

– Это уже не смешно, Сергей Петрович, – хмурился юный шахматный наставник. – Вы или летаете сейчас в облаках, или не работали над собой. (Всё то время, пока меня здесь не было.)

Старик виновато оправдывался. Хотел сказать, что игра сегодня просто не пошла. Но тут на большом блюде всплыли в комнату пельмени, и Рома разом забыл о нём. Рома запотирал ладошки. Как будто увидел целое стадо белых свинюшек. С торчащей вилкой уже сидел за столом, с восторгом смотрел, как к нему в тарелку с ложки бабушки спрыгивали эти белые лаковые свинюшки.

– Только одну тарелку, Рома, – ставила условие бабушка. Да ладно, ба! Рома уже поливал жидкой сметаной всё ста-

до на тарелке. Растопырился. Приступил. Никого не видел и не слышал. М-м, вкуснота.

Городскова сдвигала брови. Она была здесь как бы Ириной. Приняла эстафету. Ей положено сердиться на внука за его переедание. Попросту говоря – обжорство. Дмитриев смотрел на мальчишку с улыбкой. Спohватившись, налил в бокалы. Екатерине и себе вина, Роме – фанты.

– Ну, долгожданные путешественники, с приездом вас!

Рома согласно кивнул, стукнул в его бокал своим и поставил. Не до фанты. Снова растопырился. Когда я ем, я глух и нем. Русская народная поговорка. Знаем старину. Или ещё: голод и волка из лесу гонит. Да. Знаем. Или еще вариант: испекли в печи калачи – мечи на стол горячи. Никуда не денетесь.

Весь рот был у мальчишке в сметане. Как у кота из подвала. Бабушка совала салфетки. Хоть этим старалась как-то сгладить свой стыд перед стариком за неуправляемого внука. А Дмитриев и не видел никакого стыда, Дмитриев накладывал и накладывал мальчишке в тарелку новых пельменей. Ешь, Рома. Сил на даче много понадобится. Голодное брюхо к работе глухо. Если тоже перефразируя сказать.

Разговор, конечно, шел о даче. На которую нужно отправиться завтра же. Не теряя ни дня. Екатерине Ивановне в отпуске гулять ещё неделю, так что завтра же и покатим.

– Екатерина Ивановна, есть ли у вас купальные принадлежности? – витиевато задал деликатный вопрос Дмитриев.

(Впрямую – «есть ли у тебя купальник, женщина?» – нельзя: моветон.)

Городскова глянула на внука, смутилась. Сказала, что есть. Хотя никакого купальника, конечно, не было. Вот ещё задача! Придётся покупать.

Телевизор по-прежнему работал. Необременительно. Вроде жвачки во рту. Что-то там мелькало, двигалось, пережёвывалось. Дмитриев решил проверить гостей. Протестировать, как сейчас говорят. Уже перед уходом их. когда пили чай, не предупредив, – внезапно переключил на «Меццо».

На сцене в громаднейшем концертном зале, как море в шторм, колыхало волнами симфонический оркестр. А выше оркестра стоял и пел целый город хористов. Весь чёрный. Незыблемый. И руководил всем этим – один человек. Тотенький, как стриж, дирижёр. На широкой подставке размахивающий палочкой..

Как будто постоянно меняющееся глубокое эхо, отлетающее в небеса, звучал «Реквием» Верди. Шла глубокая, мощная переключка оркестра и хора.

Неземная музыка захватывала целиком. Однако бабушка и внук к Реквиему были равнодушны. Будто бы и не слышали ничего. Пили себе чай. Пару раз посмотрели только на оркестр и хор и всё. Да-а. Результат теста оказался хилым. Ниже обезжиренного кефира. С бабушкой – понятно. Но неужели у мальчишки нет слуха. Музыкального слуха.

– Рома, у вас проводятся в школе уроки музыки? Пения,

например?

– Нет. А зачем? У нас же другой профиль, Сергей Петрович?

Странные вопросы задает сегодня старик, думал мальчишка. О купальниках, о пении. И играл очень плохо.

Тридцатая школа стояла тёмной. Ни в одном окне не горел свет. Только крыша отпаривала лунным светом.

Екатерина Ивановна покискала.

Феликс побежал к ней с тряским мяуканьем. Можно сказать, с воплями. Без всяких предварительных кошачьих политесов, не дождавшись даже, когда какой-то мальчишка вывалит в чашку все пельмени – начал хватать, давиться, есть.

– Что это он так... жрёт? – удивлялся толстый мальчишка. Сам любитель, мягко говоря, поесть.

Будешь тут жрать. Десять суток не было хозяйки. Десять суток на голодном пайке. Даже чупачупсы с портфелями все исчезли. На каникулах.

Кот успевал поглядывать в небо. Он был родственником серой луны. Он был лунный обитатель.

Глава восьмая

1

Подошёл старый-престарый автобус в облезлой краске. Дачный. Москвич Рома удивился, что такие бывают. Перед мальчишкой трясся ржавый железный монстр с раскрытой задыхающейся пастью. Бесстрашно Рома сунулся и хотел снять его на мобильник, но бабушка крикнула «скорей», и пришлось лезть с рюкзаком в салон. Фактически в монстра.

Сели, поехали. На ухабах, когда автобус разгонялся, спинки пустых сидений начинали страшно трястись, дребоданиться. До озноба, до зубной боли. Рома и тут не мог скрыть своего изумления: разве может такое быть? Бабушка и Сергей Петрович смеялись.

На поясе в чехле у Ромы зазвонил колокольчик мобильного. «Да, мама. Уже едем на дачу. Мы там на неделю зависнем. Да. Я тебе позвоню».

Сошли за городом на нужной остановке. Рома увидел дачный посёлок. В обширной котловине. С десятком островерхих высоких домов напоминающий тесный немецкий городок. Так и сказал Сергею Петровичу. Тот горько усмехнулся: увидишь ещё наших бургеров.

Стали спускаться по пологой дороге. Пришли прямо к уз-

кому деревянному мостку через быструю речку. «Волчанка», – представил речку Дмитриев. Рома осторожно передвигался по трём доскам. Волчанка неслась, промелькивала в больших щелях мостка, прямо под ногами, мосток сам как будто двигался куда-то.

«Осторожней! – вовремя поддержал мальчишку старик. – Мост ветхий. Ровесник посёлку. Иди, держись за перила».

За Волчанкой поднялись на пригорок и свернули на улицу к даче Дмитриева. Ночью прошёл сильный дождь, на неровной дороге провисли лужи. С большим рюкзаком на плече старик легко шёл впереди. Бабушка и внук, тоже хорошо нагруженные, несколько отставали. Рому поражал теперь цвет луж – тёмно-жёлтый. «Потому что суглинок», – коротко сказал поводырь.

Показался проданный участок Колобродова, на котором всюю шла новая стройка. Уже торчали высокие огрызки стен будущего дворца.

Понятное дело, тучная иномарка на дороге стояла. Хозяин её ходил по участку, указывал.

Вернулся на дорогу, к машине. Сел. Весь откинутый, гордый – проехал.

– Вот они! – отскочил в сторону старик. – Бюргеры нашей жизни! – Стряхивал с камуфляжа грязь: – Чёрт бы их побрал всех!

Бабушка и внук от грязи увернулись – заранее вмазались в чей-то забор. Рома прутом потрогал тут же сомкнувшую-

ся лужу, Удивился её густоте. Замесу, если можно так выразиться. Готовый строительный раствор.

– Не отставай! – крикнула бабушка.

Домик Сергея Петровича Рому разочаровал – маленький, накрытый деревьями, что называется, с головой. Однако внутри оказался довольно просторным. Из двух прохладных комнат и светлой кухни окнами на участок. Роме и бабушке досталась комната с закрытыми ставнями, тёмная, как склеп. Но можно было ставни открыть, или включить свет. Рома на диване разбросил руки по спинке, слушал небывалую тишину. Бабушка и Сергей Петрович чем-то постукивали на кухне, уже готовились хозяйничать.

Когда Екатерина Ивановна заглянули в комнату, чтобы позвать к столу, – мальчишка спал, свернувшись на диване.

– От воздуха опьянел, – поставил диагноз старик. Достал из шкафа и накрыл мальчишку простынёй: – У нас Алёшка маленьким так же после города падал.

Старик уводил глаза в сторону:

– Дети они всегда так.

Как будто Екатерина этого не знала. Да. Всегда.

Сели обедать вдвоём. Пусть Рома поспит. Старенький телевизор еле-еле работал, но показывал явно пакостное, непотребное. Какие-то молодые девки и парни с цепями и причёсками петухов сидели за одним столом. Пробовали и оценивали приготовленные друг другом блюда. У кого лучше получилось. Спорили. Вдруг одна девка – тощая, как блед-

ная немочь – встала и начала раздеваться при всех. Уверяя козлов с петушиными причёсками, что такого тела, как у неё, они в жизни не пробовали, не едали. Поганцев это ни– сколько не смутило. Сидели и какое-то время оценивали. Другая девка – толстая, с мордой, расчерченной на манер индейца, вскочила и начала таскать полуголую тощую за волосы. Дескать, она, как блюдо – лучше. Петушинные козлы тоже начали махать кулаками. Кувыркаться от ударов. Вместо дегустации кулинарных блюд – полное непотребство. Содом и Гоморра!

– И это на всю страну, – в растерянности повернулся к Городской Дмитриев. – По федеральному каналу. Показывают молодёжи. Чтобы подражала. Урок для неё. Мастер-класс. В какое время мы живём, Екатерина Ивановна! Ладно, что Рома не видит. Это же волосы встают дыбом!

Пряча улыбку, Городская посмотрела на голову старика: где твои волосы, чтобы встать дыбом?

Дмитриев схватил пульт, переключился на другой канал.

Гламурная холёная девица, похожая на выдру с волосьяными висюльками, громко, аффектированно говорила потасканному певцу с волосами драным мочалом: «Хотите знать: дочь она вам или нет? Вся страна затаила дыхание! Хотите?! Да или нет?!»

– Как жить? – кивая на девицу, задал старик простой вопрос.

Екатерина Ивановна рассмеялась, взяла пульт и выключила.

чила всё:

– Живите спокойно, Сергей Петрович!

Однако в первое купание с Ромой, показывая ему свой мастер-класс, Дмитриев навернулся с берёзы. Со всегдашней своей берёзы, наклонённой над рекой. Перед тем, как учить плавать, он хотел показать мальчишке классический красивый прыжок «ласточкой». Довольно бойко, по-молодому, полез по наклонённому стволу, одной ногой оскользнулся – и совсем некрасиво сверзился в воду.

Бросилась Екатерина Ивановна, не успевшая даже снять халат. Рома тоже помогал выводить старика на сушу. Дмитриев упал метров с трёх, на мелководе, ушиб бедро, хро-мал, но духарился, говорил как американец, которому дали в челюсть:

– Я в порядке! В полном порядке!

Его посадили на одеяло. Городскова стала легонько поворачивать, подёргивать жёсткую стариковскую ногу, ощупывать её, мять не менее жесткое бедро. По вздрагиваниям старика видела, где ему больно. Но он не проронил ни звука. Как всегда. Понятное дело – железный.

Маленький сноб в плавках ворчал. В таком возрасте полное безрассудство лазать по деревьям. В таком возрасте надо бы это понимать. Но его грубо прервали. Отправили назад, в посёлок, найти в большой сумке аптечку и быстро принести.

Видя, что мальчишка в неуверенности пошёл, Екатерина Ивановна подстегнула:

– Бегом!

Рома испуганно побежал.

Пока мальчишка бегал, выхлестала из двух бутылок газировку, набрала речной воды и приложила к бедру старика.

– Зачем, Катя? – удерживал бутылки старик.

– Держите! Уменьшат отёк.

Примчался Ромка. С клеенчатой толстой аптечкой. Тут же растёрла всё бедро меновазином. И начала мягко бинтовать. Разгорячённый Рома, удерживал сбивающееся дыхание, смотрел, учился.

Сосед Свищёв застыл со шлангом в руках будто с недержанием мочи – тощего Дмитриева в плавках вели с перебинтованной ногой. Поддерживали под локти жена и толстенький сын. Или внук? Или правнук? Вот это да-а. Как после боя ведут. Отвоевался.

В раскрытом мохнатом ротике застревал ветерок.

Дмитриев подмигнул. Из сопровождения:

– Все помидоры зальёшь. Сосед!

Свищёв опомнился. Дал фонтаном вверх. Начал укрощать его, перекрывать вентилем. Да не так! Шланг начал беситься.

Рома остановился, не по-детски серьёзно смотрел. Соседский старик плясал во всем своём сверкающем неподдающемся поливе. Закрывался руками... Один с берёзы падает, другой не может закрутить простой кран.

В доме, чтобы отвлечь больного от тяжёлых мыслей, сразу

начал расставлять фигуры.

– Ты с ума сошёл? – наклонилась бабушка. Тихо приказала: – Убери сейчас же.

Дмитриев ничего не слышал. Дмитриев сидел с перебинтованным бедром, как с перебинтованным прикладом от винтовки, уткнутой в пол. Обдумывал свою неудачу на реке. Пришёл к выводу, что, упав с берёзы, просто облажался. Как сейчас говорит молодёжь. По полной.

В обед ели окрошку. Первую этим летом. Приготовленную Екатериной Ивановной. Огурец в ней был покупной, привезённый с собой. Как и квас. И колбаса. И яйца. И сметана. Но редиска, укроп и лук – свои. С огорода. Картошка тоже своя. Из погреба.

Старик и мальчишка наворачивали. За обе щеки. Однако не забывали и про свои планы. Договорились пойти на реку завтра. Ближе к вечеру? Нет, прямо с утра, Сергей Петрович.

На другой день, тоже придя к реке искупаться, Екатерина Ивановна от смеха поползла в кусты – старик учил Ромку плавать на берегу. Под его команды Рома ходил в громадных ластах и маске с жёлтым хоботом наверх. Учился ходить. Высоко задирали ноги. «Раз-два, Рома! Смелей!»

Мальчишка запутался в ластах и растянулся на песке. Старик поднимал его, успокаивал, мол, терпение, Рома. И опять командовал: «Раз-два! Раз-два!»

Екатерина Ивановна дрыгала ногами, не могла удержать струйки в паху. «Когда же он успел купить это всё? – с испу-

гом успевала только думать. – Эти ласты и маску?»

Она не знала, что старик хотел прикупить ко всему и ружьё. Со стрелой. Для подводной охоты. Но не потянул. Финансово.

Поэтому пока так, без ружья. Только с ластами и маской с хоботом:

– Раз-два! Раз-два!

2

Первые дни на огороде работала одна. Едва проснувшись и даже не поев, два стойка в плавках отправлялись на речку. Конечно, со своими ластами и хоботами. Ладно, что хватало ума не надевать их сразу. Едва выйдя за калитку. И чапать в них дальше. До самой реки.

Екатерина Ивановна думала, что так и маршируют по берегу на потеху мальчишкам и девчонкам посёлка, но дня через три её пригласили на берег, чтобы показать успехи Ромы.

Мальчишка, казалось, вяз в воде, вытаскивая и перенося руки как тяжёлые негнущиеся колбасы. Но плыл. Плыл! Под прыжки и вопли ребятишек-болельщиков. Сергей Петрович гордо стоял рядом с Городсковой, как бы говоря: вот, терпение и труд всё перетрут. Затем сам с этакой профессиональной ленцой лез на берёзу, вставал на самом её верху над всем земным простором и «ласточкой», с распахнутыми руками, летел в реку. Вся мелкотня, как по команде, карабкалась за ним, тоже прыгала, сигала солдатиком и даже кувыркалась.

Благоразумный Рома не лез ни на какие берёзы – Рома показывал всем охоту на рыб: жёлтый хобот перископом подводной лодки двигался, рассекал воды. Что делал под водой охотник – неизвестно, но все шли и следили. Рома с большим шумом выкидывался из воды, точно ухватив тайменя. В маске с хоботом – страшный. Потом в тех же ластах и сби-

той маске, тяжело покачиваясь, профессионально выходил на берег. Разрешал желающим примерять ласты и даже походить по берегу в них и с хоботом. Но в воду не пускал – опасно, нужна тренировка. Сам сидел на песке, опираясь на руки. Ленился.

Однако вскакивал и начинал бегать возле берёзы, увидев, (просмотрев!), что бабушка уже стоит на ней. Готовит себя к прыжку. В чёрном купальнике, как большая ракушка.

– Слезай немедленно! – кричал мальчишка среди тоже немало изумлённых малолетних зрителей. – Слезай! Расшибёшься!

Не так красиво, конечно, как Дмитриев, бабушка сигала вниз. В воду летела тяжёлая бомба, перебирающая белыми ногами. Брызги на всю реку! Но потом ловко, красиво плыла. Рома опускался на песок. Такие переживания! И Дмитриев ничего не видит – раскинул руки и движется себе вниз по реке. С плывущей, как дыня, головой.

Так же, как плаванье, Рома полюбил поливать огород. В плавках и бейсболке он стоял на одном меридиане со стариком Свищёвым в застиранной тельняшке. И в точности, как и тот, удерживал шланг.

– Хороший у тебя внук, сосед, – говорил по утрам Свищёв. Специально громко. Чтобы Рома со шлангом слышал. – Работящий.

Однако Городскову (жену Дмитриева? сестру? любовницу? тещу?) Свищёв сразу невлюбил. Как только та появля-

лась на огороде в купальнике или даже в халате – с досадой бросал шланг. Шёл во двор и матерился. Это всё равно – что баба на судне! (На судне-огороде.) Притом полураздетая! Сама ракушка да ещё каждый раз раком!

Старый морской волк во дворе начинал яростно сублимировать. Колуном лупил дрова. Он жил в своём домике круглый год. Как списали с флота. Никаких жён у него сроду не было. К пенсии зимой получал ставку сторожа. Мать вашу!

Пробыли на даче ровно неделю. Рома сильно загорел и как-то подсох. В кепке и кудряшками над ушами стал походить на цыганёнка. В полупустом автобусе уже не удивлялся дребоданящим сиденьям. Удерживал свой неизменный рюкзак с большим достоинством. Как дачный труженик. «Да, мама. Едем домой. Потрудились на славу. Ну и отдохнули, конечно. Я научился плавать. Сергей Петрович научил. Он отличный учитель плавания. Да, мама. Позвоню». Человек в бейсболке сидит. Человек серьёзный. Понимающий теперь не только математику, но и работу на огороде. В частности все тонкости полива овощей. К помидорам – один подход. К огурцам совсем другой. А над зарослями моркови и укропа – только рассеивание. Из лейки.

Однако дома Рома опять удивился. После того, как сел в ванну, набранную бабушкой, и намылился – чистая вода на глазах начала сереть и превратилась в грязную. Странно. И загар тоже вроде бы куда-то ушёл. Стал бледным. И ведь на реку ходил каждый день. Два раза в день. Целую неделю. Так

– почему? «Цыганский загар, – смеялась бабушка. – Это цыганский загар с тебя сошёл, Рома!» Хм, «цыганский загар», всё разглядывал свои выцветшие руки исследователь. «Это грязь что ли сошла, ба?» – «Она самая!»

Екатерина Ивановна отвечала из спальни, смеялась, но торопливо одевалась на работу. Сегодня – первый день после отпуска.

Феликс опять жрал, неделю не кормленный. Давился. Принимался по-кошачьи кашлять. Раздуться как шар и шикать. Снова хватал, давился. Целую неделю опять на голодном пайке!

Городскова с тоской смотрела по сторонам. Искала среди идущих хоть одного человека. Ведь ни одна собака не покормила.

Вывалила остатки еды в чашку. Оставила кота, который уже рыгал как кочевник. Который не знал – хватит уже или дальше продолжить.

В поликлинике сразу напоролась на невероятное – в коридоре тощая Небылицына била Толоконникова. Медсестра своего шефа. Била неумело, по-детски, стучая кулачками его грудь: «Гад! Гад! Гад!» Невропатолог в изумлении отступал, давал себя бить, держал руки за спиной будто связанный.

Городскова бросилась: «Ну-ка, ну-ка!» Оттащила дёргающуюся цаплю. Охватила её сзади, пыталась зажать, утихомирить, но та на удивление оказалась очень сильной – вырва-

лась, успев даже лягнуть Городскову. Быстро пошла по коридору. Потом с раскинутыми руками побежала. Будто пугало в медицинском халате с огорода.

Толконников с места не двинулся. Как впаянный. Вытирался платком и только бормотал: «Она сошла с ума. Она сошла с ума». Не видел, что все пациенты в коридоре повернули к нему головы. С раскрытыми ртами. И стар, и млад.

Как больного, Городскова повела его к себе. В процедурной усадила на стул.

– Я ничего не сделал ей, ничего не сказал. Я вышел в коридор обдумать диагноз. Она выскочила как фурия. Плеснула зеленкой. Начала царапать меня, бить. Екатерина Ивановна!

Городскова только тут увидела, что на щеке невропатолога горела царапина, а его халат весь в зелёнке. Его безукоризненный халат! В который он так любил закладывать левую руку!

Городскова торопливо налила в мензурку. «Выпейте, Виктор Валерьевич, Вам необходимо сейчас».

Толконников безропотно проглотил.

Заглянул какой-то старик. С зелёной щекой:

– Доктор, а как же я?

Немая сцена.

Вечером Городскова пришла домой будто избитая. В прихожей сидела в неудобной позе бандуристки, никак не могла расстегнуть ремешок на босоножке – заголившаяся толстая

бандура плохо сгибалась, липкий ремешок не поддавался.

Никаких разбирательств и собраний не было. Небылицы-ну уволили сразу же. С трудовой и расчётом она прошла по коридору ровно через час после драки. Красные пятна на её щеках независимо горели.

Толоконников переживал. Теперь один в кабинете слушал жалобы больных рассеянно. «Обдумывать диагноз» в коридор не выходил.

После обеда не выдержал, пошёл на третий этаж. Просить.

– Точка! – хлопнула по столу Вебер Ольга Герхардовна. – Стыдно за вас, Толоконников. Мужчина вы или нет?

Толоконников постоял, подумал.

– Идите, работайте.

Толоконников пошёл.

– Развесил тут нюни, понимаешь...

Рома с удивлением смотрел на замершую бабушку. С порванной босоножкой в руках и упавшим до пола платьем.

– Ба, что случилось? На работе что-нибудь?

Отмывшись после дачи, Рома словно бы снова растолстел – раздетый, в плавках, стоял руки в бабьи бока.

Городскова бросила порванную босоножку в угол.

– Да так, пустое, Рома...

Пошла за внуком в комнату.

Ну, как ты тут, сынок? Что делал? Куда ходил? (Про оставленную еду, про обед не спрашивала, зная, что Рома себя не обидит.)

Внук обстоятельно всё докладывал. И про скайп с Москвой («Тебе большой привет, ба»), и про Сергея Петровича, который тоже звонил.

С везущимся халатом Городскова шла к ванной, выслушивая внука. Не забыла похвалить:

– Молодец, Рома!

Зашла за дверь, пустила воду. Содрала, наконец, с себя прилипшее платье.

– Какое возьмёшь?

Сергей Петрович стоймя держал два удилища. Одно бамбуковое, другое, как он сказал, – ореховое. Вырезанное из лесного ореха. Извилистое, с корой коричневого цвета. Он только что слазил на чердак и достал оба удилища оттуда.

– А какое эффективней?

– Ты хочешь сказать – уловистей? Вот это – ореховое.

– Тогда – его, – твёрдо сказал Рома.

Отправились на реку. Рома, как заправский рыбак, нёс удилище на плече. Выворачивал голову, смотрел вверх – длинный извилистый конец орехового доставал до солнца, царапал его.

– Осторожно, упадёшь, – подхватывал Сергей Петрович.

По заводи, прямо по зеркальной поверхности, бегали какие-то комары гигантских размеров. Рома таких никогда не видал. Старался смотреть на поплавок. Однако ни черта не клевало. Даже на ореховое. Руки уже устали держать.

– Терпение, Рома, сейчас рыба подойдёт.

Рома усмехался – «подойдёт», «подъедет». Смотрел, как старик достает их целлофанового мешка жижеобразную массу, наверняка вонючую, и раскидывает её по заводи. Это у него называется – «приваживать рыбу». Он раскидывает «приваду». Сейчас, дескать, подойдёт, подъедет. Одни кома-

ры-гиганты только бегают, и больше ничего.

– Клюёт! Соня!

Рома ахнул. Рванул ореховое – плотвичка со снастью перелетела через него и упала на куст.

– Поймал! Поймал! – слетела вся надутость с мальчишки. Подпрыгивал с удилицем, как чемпион, не давал Сергею Петровичу снять плотвичку с крючка.

– Тихо, Рома, тихо. Всю рыбу распугаешь.

Дальше с ореховым в руках смотрел во все глаза. Едва торчащий поплавок начинал шевелиться – пружинно напрягался. Поплавок или разом нырял, или ехал в сторону – тут же подсекал и выносил трепещущую рыбёшку на берег, на гальку. На прыгающую рыбку смотрел горящими глазами пиеролапитека прямоходящего, древнейшего своего предка. Ждал, когда Сергей Петрович отцепит её с крючка. Сам дотронуться до живой плотвички пока боялся. Потом, Сергей Петрович. Привыкну. Снова быстро закидывал снасть. С червячком, тоже пока надетым на крючок Сергеем Петровичем. Потом буду надевать. – Ага! Есть! Попалась!

Домой шли неторопливо. Как настоящие рыбаки. С удилицами на плечах и плетёной корзинкой на руке у Сергея Петровича. Сырая корзинка, понятное дело, – с пойманной рыбой. «Да, мама. На реке теперь зависаем. Ловим рыбу. Плотву. Завтра пойдём на язя. Очень крупного. Ловится проводкой. На бабочку. Долго объяснять. Жаль, что папы с нами нет. Он бы сразу бросил курить. Всё, пока!»

Жарёха (название Сергея Петровича) из рыбы получилась отменная. Ели её с большой сковороды. Рома плоские засушенные тушки ел, казалось, прямо с костями. Дмитриев хвостики плотвичек обсасывал. Говорил:

– Ты, Рома, поймал больше меня. Потому что удочка у тебя была уловистой. Ореховая. Мой сын Алёшка с ней всегда меня облавливал. Да.

От бабушки Рома знал, что сын Сергея Петровича пропал в Афганистане. Более тридцати лет назад. Поэтому проникнулся сочувствием. Перестал даже есть, поглядывая на старика. Но тот, видимо, упомянул сына просто так, как говорят, всуе, – обсасывая хвостики. И Рома со спокойной совестью снова ел высушенные похрустывающие сахарные рыбки.

Теперь по утрам на речку ходили почти каждый день. Очень крупного язя, правда, не поймали ни проводкой, никак, зато плотвичек всегда надёргивали предостаточно.

Приехавшую в пятницу Екатерину Ивановну, в кухне встретили два повара из ресторана. Повар и поварёнок. Будто бы даже в фартучках и колпачках. Показали на стол: – Пожалуйста отведайте наше блюдо.

Екатерина Ивановна ахнула. Большая сковорода с разложенными Сергеем Петровичем золотистыми рыбками больше походила на подробнейший ацтекский календарь, чем просто на блюдо из рыбы. К тому же всё было усыпано укро-

пом и зелёным резаным лучком. Когда же это вы всё успели? Научиться ловить этих рыбок и даже жарить? А вот и успели.

На другое утро Городскова тоже стояла у воды с толстым удилищем. Ворчала:

– Ну конечно, вырезали для меня в лесу оглоблю и думают, что на неё будет клевать.

Ревниво поглядывала на вылетающих из воды трепетливых рыбок. То справа от себя, то слева. Конечно, когда иметь нормальные удочки.

Внук бросил под оглоблю, под дубину какой-то хренотени. Привады, как он сказал.

– О! О! – запрыгала бабушка. – Поймала! Поймала!

– Тише ты! Всю рыбу распугаешь.

Морской волк Свищёв не просто рот раскрыл – разинул! – по дороге шла соседская троица с удилищами до неба. Вот это рыбаки-и. Так и зашли в свой двор, цепляя удилищами деревья. Не иначе на тайменя ходили. Шланг поливал помидоры сам по себе.

Ближе к вечеру рыбаки опять вышли с удилищами. Но не с одной корзиной, а в полном туристском снаряжении. С рюкзаками, со свёрнутой палаткой и даже с закопчённым казаном. Понятно, закрыл рот Свищёв, отправились на тайменя. Теперь уж точно. С ночёвкой. Даже огород забросили, не поливали. Готовились. Понятно. Теперь туристы-рыбаки.

От посёлка вниз по реке прошли километра полтора.

Сергей Петрович остановился, скинул рюкзак и палатку и сказал: здесь! Точно определил место бивака. Довольно просторная песчаная проплешина среди кустов, а напротив – медленно закруживающая заводь для рыбалки. Только здесь!

Начал ставить палатку. Забивать колья, натягивать верёвками брезент. Добываясь островерхой формы летучей мыши. Рома, не совсем понимая чего от него хотят, ходил по берегу, искал палки, ветки. Вроде бы дрова. Чтобы не маяться, притащил целую корягу. Сырую.

– Да нет, Рома, нет! Нужно только сухое. Под кустарниками собирай. Обломавшиеся высохшие ветки.

Так бы и говорили, сердился Рома.

Сергей Петрович переделал свою снасть. Привязал на удилище, как пояснил, донку. Для ловли окуней и ершей. А возможно, и щук. Поставил удилище на вырезанную рогатку. И словно бы ничего больше не делал. Ходил себе и ждал, когда задёргается кончик удилища. После резких дёрганий снасти кидался и подсекал. Но разочарованно подвозил лесу к берегу. Подняв, смотрел на дёргающегося ершишку размером с соплю. Не слушал смех других рыбаков. Рядом.

И дальше, каждый раз обманутый сильным дерганьем снасти, – рефлекторно кидался к удилищу. Но разочарованно вёз лесу к берегу. И опять разглядывал ершишку, удивляясь силе, с какой сопливенький дёргает снасть. Прямо Геркулес. Бабушка и внук дрыгали ногами на песке, побросав удочки.

А чего смешного, поворачивал голову старый рыбак.

Солнце село, начало быстро темнеть. Сергей Петрович развёл костёр и подвесил казан с водой.

Костёр жадно облизывал казан. Словно бы скликал всю чёрную ночь. Рома не отрывал глаз от него. Сергей Петрович и бабушка к пляшущему пламени были безразличны – бабушка чистила картошку, Сергей Петрович солил уже почищенную рыбу. Разговаривали о пустяках.

Тарелки для ухи были обычными, столовыми, зато ложки – деревянными. Сергей Петрович говорил, что только такими и нужно есть уху. Он зачерпывал со дна казана ухи, поднимал поварёшку и наливал вместе с густым паром в тарелку. Подавал в осторожные руки внука и бабушки.

Ели, покачивали головами, мычали от восторга.

– Вот вам и ерши, над которыми вы смеялись. Без них уха – не уха. – Сергей Петрович стягивал с деревянной ложки шумно, по-рыбацки. Хлебал уху. Как положено.

– Кому добавки?

Он ещё спрашивает! Две тарелки тут же подсунулись под парящую поварёшку.

Пили чай. Старик и Екатерина удерживали кружки задумчиво, обеими руками. Рома вне зоны их глаз налегал на печенье, не забывая припивать.

Пустой костёр догорал. Красно-фиолетовые хлопья слабели, едва трепетали над сжавшимся жаром. Усеянное звёздами небо стало близким. Рукой подать.

Часов в девять забрались в палатку.

Спальный мешок был только один. Остался от сына Сергея Петровича. От Алёши. Рома лежал в нём как в странном египетском размягчившемся саркофаге. К тому же пованивающим затхлым, давно не стираным. Бабушка справа и Дмитриев слева точно не слышали этого запаха, как ни в чём не бывало разговаривали. Они лежали в свитерах, тёплых штанах и шерстяных носках. А Сергей Петрович вдобавок в лыжной шапке. Видимо, чтобы ночью лысина не замёрзла.

Рома старался не смотреть на ползающие по брезенту лунные тигровые лапы, всё обдумывал свое положение в «саркофаге». Потом как-то незаметно уснул.

На другой день снова ловили рыбу. Потом купались. Подходящей берёзы на берегу не нашлось, поэтому Дмитриев показывал лишь медленный мощный кроль вдоль берега. Екатерина Ивановна не отставала, махала сажёнками. Рома переносил толстые руки медленно, пытался подражать Сергею Петровичу.

На открытых буграх, на солнцепёке, уже вызрела земляника. Собирали в стеклянные банки. Не забывали кидать в рот.

Потом залезли в малинник в низине. Рома разом забыл Москву. Забыл свои шахматы и формулы – ел малину горстями.. Обиравший ягоду Дмитриев смотрел на него снис-

ходительно. Вроде уже излечившегося вампира.

Вернулись на дачу ближе к вечеру. Немного отдохнули, полили огород и отправились домой.

Оставшийся Свищёв плясал, боролся со своим фонтаном.

Всё чаще и чаще скребла мысль, что нужно рассказать всё старику. О внуке его, о правнуке. Раскрыть ему глаза. Что дальше тянуть нельзя. Потом будет ещё труднее. Ситуация, в которую загнала себя сама, давно созрела, нарвала. Её нужно было вскрыть, в конце концов. А там уж – что будет.

Городскова застывала с торчащим шприцем в руке. Не видела подкрадывающейся, вернувшейся с того света попы. Попы Пивоваровой. Которая уже стояла наклонённая: «Ну что же ты, доча? Тяжело стоять». Медсестра спохватывалась: «Извините, Анна Ефимовна». Мягко ставила укол. Помогала надеть штанишки.

Старик был постоянно закрыт, неприступен. Нахрапом брать такую крепость немислимо. Это – по умолчанию. Нужно дождаться момента, когда он отмякнет на какое-то время, станет лиричней, что ли, пустится в воспоминания. И притом только с ней, без Ромки.

Впрочем, такой момент недавно был, но и его упустила.

Старик приехал за свитером для Ромки. («На вечерних рыбалках свежо, Екатерина Ивановна».) Взять его и сразу уехать назад. Она всполошилась: как же мальчишка там один! Сергей Петрович! (Мол, чего же ты, старый идиот, одного его оставил?)

Странный упрёк, нахмурился Дмитриев. Нужно бы знать

своего внука. Человека ответственного.

Сухо сказал:

– Он поливает огород, Под присмотром Свищёва.

Подошёл к фотографиям на стене. Их можно будет спокойно рассмотреть. Пока за спиной переворачивают весь дом, ищут свитер.

Постояв перед сердитым (ответственным!) Ромой в центре, сдвинулся от него к другой фотографии. Рядом.

Молодой мужчина с высоким лысым черепом в форме кудрявой беседки. Тупо-острый нос. Напряженные глаза в черепе будто бы на защите интеллектуальной собственности... Это и есть, по-видимому, отец Ромы. Валерий Алексеевич Городсков... Что-то неуловимо знакомое в нём проступало. Где-то когда-то уже виденное. На Екатерину Ивановну совсем не похож. Остаётся – обликом в неизвестного обществу папу. Да. Только так.

Старик отошёл от фотографий.

Однако за столом был рассеян. Глотал чай безотчётно. Блуждающие глаза его роднились с луноходами.

Неожиданно спросил:

– А чем Валерий Алексеевич занимается в министерстве? Конкретно?

Никогда не спрашивал! Как будто тот и не существовал!

Вместо того, чтобы спокойно сказать старику: да это же внук ваш, Сергей Петрович. Неужели не узнали? – и даже рассмеяться – Городскова похолодела. Быстро глянула на

Валерку на стене. Начала что-то говорить о нём, отвечать. Общими словами. Второй референт он, Сергей Петрович. Участвует в заседаниях. Видимо, что-то подсказывает шефу. Ну министру.

– Вы говорили, что он пишет диссертацию. Какова её тема? – всё допытывался старик, перестав пить чай.

– А вот этого я совсем не знаю, – окончательно сконфузилась Екатерина Ивановна.

– Жаль. – Старик вернулся к печенье, к чаю, снова ушёл в себя. Забыто слетали с губ слова: – Матери бы об этом нужно знать.

Неужели узнал, почувствовал что-то, всё следила за блуждающими глазами Екатерина. Так и упустив момент.

Потом ещё был подобный случай, когда можно было сказать старику. Правда, не под фотографиями, а на почте, куда зашла зачем-то с ним получить перевод от Валерия. (Перед поездкой на дачу, где их ждал Рома.) И тоже не решилась, не посмела. И старик стоял рядом, пока заполняла бланк. Постукивал пальцами по стойке, и лицо его было недовольное и даже злое. Словом – никак. Язык опять не повернулся.

В августе приехала Галина.

Сёстры не виделись полтора года. Галина сильно постарела. Из вагона, хватаясь за поручни, спускалась тощая старуха с поредевшими космами серого цвета.

Обнимая её, чувствовала в руках какую-то неустойчивую

жесткую механическую куклу.

– Ну, ну. Телячьи нежности ещё какие-то, – сердилась Галина. – Вези вон лучше чемодан.

Дома оставила её мыться и отдыхать, а сама поспешила обратно в поликлинику.

Вечером две сестры ужинали. Галина оглядывала комнату. Верная себе, давала указания. Вымытые волосёнки её походили на рассыпавшуюся хижинку китайца. Диван переставить вон туда. Телевизор тоже туда. Тумбочку сюда. Стол вообще выкинуть, купить новый. А шторы? Что это за шторы у тебя на окне? Это же жёлтая Африка! С папуасами! Жёлтый дачный огород! Завтра же купим новые. В общем – начальница. Бывший прораб. Всю жизнь среди мужичья. На стройках. Сейчас на пенсии. Беломорины только в зубах не хватает. Курить бросила.

– А где Роман? – словно только что обнаружила, что его в комнате нет.

Городскова рассказала о Дмитриеве. Как встретила его в первый же день после Сургута. Как ходили к нему потом, как привязался к старику Ромка.

– Ну и зачем он вам? Такой дедушка? – удивилась Галина Ивановна. – После стольких-то лет? Ведь будет думать, что за квартирой охотитесь. Не морочь голову ни себе, ни Валерию с Ромкой. Забудь, Катюшка. Быльём поросло.

Старая Катюшка начала горячиться, что всё совсем не так, ни о каких квартирах речи даже нет, жалко просто старика,

что одинокий человек, что Ромке-то он прадед, родной прадед, Галя, но сестра прервала:

– И что? Поедете на передачу «Жди меня»? Устроите индийское кино? Встреча через тридцать лет? Старенького дедушки с внуком да ещё и с правнуком в придачу?.. Ты как-то подзабыла, милая, что сделал с тобой его сын. Хочешь ему рассказать об этом? Представить ему результат – внука и правнука? Тебе надо это? Это же себя не уважать!

– Да при чём тут «уважать, не уважать»! – в беспомощности восклицала Екатерина Ивановна.

– В общем, не дури, Катюшка. Завтра лучше поедем к папе и маме. Наверное, и не была на кладбище ни разу. С этим объявившимся Дмитриевым. Да и Рому не мешало бы взять с собой. Чтобы знал, кто его настоящие прадед и прабабушка, – всё ворчала начальница-прорабша. – А не всяких там самозванцев.

Поехали на кладбище на другой день. Сразу после работы Екатерины.

Одетая в штормовку сестры, с сумкой на коленях, Галина не отрываясь пялилась в окно на пролетающее. Походило, ничего не узнавала в городе. Всё время спрашивала сестру – «а это что? а это откуда тут взялось?» И даже удивилась один раз, увидев громадный, как многопалубный Титаник, универмаг. Смотри-ка, тоже стало как у людей.

В своё время Галина хорошо заплатила кладбищенскому начальству. И отца, и мать похоронили в старой, зелёной части кладбища. Похоронили рядом, в одной оградке. Увидев заросшие бурьяном две могилы, больше похожие на заброшенные в огороде грядки, Галина в сердцах воскликнула:

– Бить тебя некому, Катюшка. Честное слово!

Сбросила штормовку и сразу принялась выдирать бурьян.

Екатерина Ивановна смотрела на круглые портретики в пирамидках. Мама и папа словно жили в этих пирамидках, выглядывали из них. Дочь смахивала виноватые слёзы. Была она здесь только один раз. Сразу после приезда из Сургута. И, приехав на кладбище, точно так же, как Галина сейчас, раскорячивалась и выдирала многолетнюю дурнину. Бедные папа и мама.

– Помогай! – глянула из-под шляпы сестра. – Развела ню-

ни.

Надев нитяные перчатки, Екатерина Ивановна тоже стала выдёргивать сорняки. С другой могилы. С могилы мамы. Охалками выносила бурьян на дорожку вдоль оградок. Галина лопаточкой рыхлила землю, потом сеяла какую-то траву. Солнце садилось, лучи ползали, терялись в чёрной роще. Кукушка предночно куковала. Невольно слушали, отсчитывали своё время. Что-то маловато получалось. Кукушка вновь принималась куковать, и появлялась надежда.

Перед уходом сидели на скамейке, за две бутылки сделанной когда-то кладбищенскими людьми. Руки ощущали шершавую, шелушащуюся краску. Галина опять начала:

– Что же ты не подкрасила ничего? Ни скамейку, ни оградку? Ведь ошершевело всё. Осыпалось, облупилось. Неужели трудно было на родительские приехать и освежить?

Городской нечего было сказать, уводила глаза.

По дорожке за оградками прошла худая старуха с палочкой. Скрюченная, как скоба. Забыв про «покраску», Городская невольно сравнила её с сестрой. Такой же тощей и длинной. Но Галина сидела очень прямо. С прямой спиной и задраным подбородком. Нет, такую время не согнет. Не скрючит. Так и останется прямой палкой. До последнего своего дня.

Приобняла сестру. С навернувшимися слезами покачивалась с ней. «Что это опять за нежности?» – ворчала та. Но мирилась.

Надгробные медальоны с папой и мамой словно спятились в темноту. Атеистические две звёзды над ними стали черными.

Что бы ни говорилось два дня назад, но Галина должна была увидеть Дмитриева. Так называемого дедушку и прадедушку. Дала себя уговорить сестре. И в пятницу отправились на его дачу. Посмотрим, что за гусь. Пёстрое платье на решительно шагающей Галине взбалтывалось сзади как погоняло, летняя шляпа её имела вид птицы, присевшей для взлёта.

Дачный домик Дмитриева Галина одобрила, приняла: свежепокрашенный, с побелённой трубой, весь утопающий в зелени. Хороший домик, ухоженный. И забор не облезлый. Не то что оградка у некоторых. На кладбище.

Однако во дворе, знакомясь с натуральным лысым козлом в висящих плавках, Галина Ивановна смотрела в сторону. Развесил яйца без стыда и совести и жмёт, главное, руку.

Пошли в дом. «Козёл» шёл впереди, растопыривался на крыльце, болтал меж ног своей колокольней. Да-а, вот Катюшка попала.

В доме, как увидев спасенье своё, крепко прижала кучерявую вскочившую голову к своей тощей груди.

Глубоким голосом Фаины Раневской экзальтированно говорила:

– Роман! Как я рада тебя видеть! Роман!

Рома видел родную сестру бабушки всего один раз. Три года назад. В Сургуте. Поэтому несколько испуганно мычал у неё на груди:

– И я вас, тебя Галя! И я вас!

Галина Ивановна отстранила мальчишку от себя. На вытянутые руки. Повертела, как маленького: вот же, нормальный человек, полноватый, правда, тоже в плавках, но с почти не видимым детским писюном. Как и положено у полных детей. А у тощего козла-то!

Толклись в кухне, не знали, кому куда. Также как спасаюсь, Екатерина Ивановна разливала из термоса по тарелкам крошку, привезённую с собой. Один Рома заширкал ладошками. Один обрадовался.

Сели за стол. Так и не одевшись (а чего ещё! – на даче), Дмитриев выдернул откуда-то бутылку. Как иллюзионист из рукава. Которого на нём не было. Хмурый фокусник. Налил сёстрам. Себе. Роме не положено. Уже загребает ложкой.

– С приездом вас! – ткнул стакашкой в стакашек приехавшей. Не назвав её никак. Ни по имени, ни по отчеству.

Маханул. Начал шумно хлебать.

– Ну как там?

– Где?

– У вас в Сургуте.

– Нормально.

Это разговор. С приехавшей. Вот это хам, удивлялась Екатерина Ивановна. Впрочем, Галина тоже не оставалась в дол-

гу, всё время подпускала ехидные, с подтекстом вопросы старику. О здоровье. Ничего не беспокоит? Простатит, к примеру? И победно поглядывала на сестру, когда старик от такой наглости не знал даже, что ответить. Два непредвиденно столкнувшихся антагониста сидели за столом. Один с коричневой лысиной, поджарый, весь как из коричневых ремней скрученный, другая – одетая в пёстрое платье без рукавов, с жидкими тощими руками в пятнах.

После окрошки пошли поливать огород. Дмитриев всё время вырывал у Галины шланг, показывал как надо. Свищёв на своём огороде вообще опупел: уже две бабы на судне!

Было понятно, что Дмитриев и Галина никогда вместе не сварят каши.

После полива старик сразу увёл мальчишку на рыбалку. И, как оказалось, далеко от места купания, от своей берёзы. Потому что, когда сёстры пришли туда – рыбаков с удочками не увидели. Ни ниже по течению, ни выше.

– Смылся, – зло сказала Галина, снимая пёстрое платье. Даже забыв про шикарный свой купальник под ним. С красивыми вышитыми чашками. Который, казалось, так и приехал вместе с ней из далёких семидесятых. Правда, «шикарный» обвис сейчас на ней, сморщился как на водолазе. Да и показывать его было некому. Одна мелкотня, кипящая в речке.

С разбега плюхнулась в воду, поплыла. Катюшка наяривала за ней сажёнками.

Загорали на песке. Галина лежала на спине, подняв тощее колено как облысевший черепок. Глаза темнели из-под полей шляпы. Тихо, зло говорила:

– Эгоист чистой воды. Кроме себя, единственного, никого для него вокруг нет. Притом, эгоист ещё физически крепкий. Смотри, какой поджарый. Ни жиринки на нём. Такой всех переживёт. Никто ему не нужен. И ты хочешь рассказать ему всё. Дура. Ничего, кроме унижения и стыда, потом не будет. Ещё начнет требовать доказательств. Какие-нибудь дээнка проводить. В лучшем случае, отпихнёт вас всех от себя. Разом. Тебе нужно такое, Катюшка? – Приподнялась даже на локоть. Ожидая ответа.

Нет. Катюшке такого не нужно. Катюшка косо сидела, не видя, смотрела на сеющийся песок из своего кулака. Сперва из одного кулака, потом из другого.

Ближе к вечеру, после «жарёхи» рыбаков, Галина вытерла салфеткой губы, встала из-за стола:

– Ну, пора и честь знать. Спасибо за гостеприимство.

– Можно бы ещё пожить, – разрешил Дмитриев, обсасывая хвостик. Плотвички.

– Да нет уж. Спасибо. Пора. Вечером на поезд.

Галине «на поезд» нужно было в воскресенье, на девятичасовой. Екатерина Ивановна злилась от такого вранья, но тоже собиралась. Как же, ведь нужно проводить теперь гостью. Сегодня. В девять. Специальный поезд для гостыи пойдут. Рома недоумевал, ничего не мог понять.

Во двор, на удивление, Дмитриев вышел одетым. В клетчатую рубашку и штаны. Смотрел, как старуха тискает Рому, прижимает. Сейчас заревёт на всю округу. На потеху Свищёву. Который уже высунулся, раскрыл рот.

Подошла. Вплотную. Искала слова на шее у него и груди. (Чувствовал её дыхание.) Видимо, чтобы сказать на прощанье пару ласковых.

Городской казалась, что если два эти стальных бездушных шара, как в физике, сблизятся ещё хоть на сантиметр – неминуемо шибанёт молния. Белый разряд. К счастью обошлось. Сестра только потрянула руку Дмитриеву:

– Счастливо оставаться, Сергей Петрович!

Галина шла, кипела:

– Вот козёл, так козёл! (Она, видимо, думала, что «козёл» будут её удерживать, хватать за подол: не уходи, вернись!) Видела я козлов, но таких... И ты такому хочешь всё рассказать?

Екатерина Ивановна несла сумки, хмурилась, сама уже не знала, чего хочет.

Галина Ивановна смотрела на странного кота, который не ел свежую рыбу. Только с опаской обнюхивал.

– Чего это он?

– Не пробовал, наверное, никогда сырой рыбы, – предположила Городскова. – Сгибалась, поощряла кота: – Ешь давай, дурак, ешь!

Феликс взял, наконец, в зубы плотвичку и понёс. Как пойманную мышь. Исчез в дыре. Однако тут же вернулся – и понёс вторую рыбёшку. Опять как мышь.

– Тоже с большим приветом, – дала заключение Галина. Имея в виду Дмитриева, который категорически отказался есть халву. Привезённую ею, Галиной. Тоже воротил морду. Как Феликс. Одна порода.

Смех смехом, но сама Галина Ивановна животных любила. Всегда держала в доме. И собак, и кошек. И главной причиной сейчас её столь быстрого отъезда из гостей были как раз теперешние два её домашних питомца, – длинношёрстный кот Семён Семёнович и лопухая такса Рикки Васильевич.

– Нет, Катюшка, и не уговаривай, – заявила она ещё на вокзале, едва сойдя с поезда. – Андреева-соседка согласилась присмотреть только неделю. С дорогой моей как раз и получится. Семён Семёнович ещё куда ни шло, а Рикки Васильевич всю квартиру загадит. если не выводить на двор. Сама знаешь. Не могу, Катя, никак.

Городскова знала повадку Рикки Васильевича – если хозяйка, не дай бог, где-нибудь надолго задерживалась – делал кучу. Демонстративно. На видном месте. Из вредности. Назло. Не помогали ни тыканья мордой в кучу, ни имитации хлестаний ремешком. Серdito стоял, зажмуривался. Не будешь в следующий раз бросать, стерва.

Это был лопухий толстый малый почти без ножек, по-

хожий на вытянутый реостат с загнутой ручкой-крутилкой. Длинношёрстный Семён Семёнович с дивана смотрел на наказанного кореша спокойно, философски. У Семёна Семёновича была в туалете своя коробочка с песком. Когда она становилась достаточно полной – он бомбил с унитаза. Философ.

Субботу и воскресенье занимались делами. Ещё раз съездили на кладбище, покрасили оградку и скамейку. Пока опять покаянно стояла перед портретами матери и отца, как перед выцветшими округлёнными цифрами, сердитая Галина корячилась, высаживала на могилы цветы, купленные в магазине «Огород и сад». В городе снова ходили по магазинам, сестра покупала кое-что из одежды, почему-то считая, что таких тряпок в Сургуте нет. Хорошо обедали, ужинали. Смотрели сериалы. Однако разговор всё время крутился вокруг Дмитриева. Вокруг Дедушки. Даже на вокзале Галина никак не могла забыть его. Его тёплую встречу. Уже и поезд приближался, и нужно было лезть в вагон, а она всё говорила: «Обожди, он ещё женится. Не смотри, что старик. Он как сохранённая копия неоткрывающегося сайта. Он ещё покажет себя. Выставится. Во всей своей красе. А ты к нему с внуком, с правнуком. Забудь, Катюшка».

Городскова обняла её, вздрагивающую, железную. Подавала потом чемодан наверх. Сумку.

– И чтобы звонила каждую неделю! – уплывала с провод-

ницей тощая старуха в пёстром платье и шляпе на глаза. –
Слышишь? Каждую неделю!

Городскова шла за поездом, плакала, махала платком.

Глава девятая

1

Ясным солнечным днём Дмитриев идёт поступать учиться. В техникум, где когда-то работал. Нужно начать жизнь заново, с чистого листа. На Дмитриеве очень большой школьный рюкзак, гораздо больше, чем у Ромы. Из рюкзака торчат шахматные доски, рейшины и острейшие циркули. Он хорошо подготовился к вступительным экзаменам. Теперь всё – с чистого листа. На здании техникума новая вывеска – «Техникум имени Сергея Петровича». Понятно, что Дмитриева. И сбоку он сам отчеканен. Золотой, как Ильич. В профиль. Отлично! Молодцы! Постарались! Он заходит в техникум. С рюкзаком идёт по коридору. С уважением, с поклонами молодые абитуриенты перед ним расступаются. Некоторые поют вслед: «Старикам везде у нас дорога!» Очень хорошо, плачет он, уважение к старости. Как было раньше. Он вытирает платком глаза, открывает дверь и хочет войти в приёмную комиссию. Одна очень длинная рейшина цепляется за что-то вверху, не даёт войти. Подняв руки над головой, он отцепляет её. Извиняется перед приёмной комиссией. «Ничего, ничего! – привстав, дружно успокаивает его приёмная комиссия. – Присаживайтесь, пожалуйста!» Не

сняв рюкзака, он садится на стул. Рейсшины и циркули сзади почему-то мешают. Он терпит. Глядя на его почтенную лысину, на рейсшины и циркули над ней, комиссия очень осторожно, даже щадяще спрашивает его: «На какой бы вы факультет хотели поступить, Сергей Петрович?». «Только на физико-математический!» – твёрдо отвечает он. Тут сбоку подходит Рома, кладёт ему руку на плечо и говорит приёмной комиссии: – «Я его хорошо подготовил. Он теперь щёлкает задачки как орехи». Рома одет в пёстрые короткие штаны, белую майку и бейсболку. Не поверить ему – невозможно. Комиссия вскакивает, давится слёзами и яростно аплодирует. Дмитриев поворачивает просветлённое лицо к Роме, тоже плачет: «Спасибо тебе, Рома. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал. На, возьми за это рейсшину. Самую длинную. Она тебе пригодится. И циркуль, и циркуль. Самый большой. С ним можно будет даже ходить и мерить пашню...»

Дмитриев мотнулся над постелью, сел с очумелыми глазами. Чёрт знает что такое!

Вчера был день рождения. 75. Юбилей. Бабушка и внук подарили навороченный планшет. Рома закачал в него обучающие программы для шахмат. Заодно «Занимательную физику и математику» Перельмана. Обе книги. Вот откуда этот дурацкий сон.

Поднялся, пошёл в ванную.

Перед уходом Рома посмотрел на себя в зеркало. Из-под

бейсболки чёрные кудри. Белая майка с английской буквами GEEK (чокнутый). Рюкзак сегодня не понадобится. Длинные шорты защитного цвета. Носки, кеды. Порядок.

По улице шёл, поглядывал на спящее солнце, жмурился.

Сегодня нужно научить старика работать с планшетом. Чтобы мог брать его на дачу. Вчера на дне рождения, конечно, было не до обучения. Однако рад был старик подарку. Очень рад. Глаза его загорелись, разглядывая многоцветное навороченное меню первой страницы. Однако бабушка не дала заняться с ним: «К столу! К столу!» А там чего только не было! Чего только не наготовлено! Рома сглотнул слюну. Пока лучше не вспоминать. Наверняка и на сегодня кое-что осталось.

Колокольчиком зазвонил в кармане шорт мобильник. «Да, Сергей Петрович, уже иду».

– Ну-ка стой, жиртрест!

Его остановили трое. Длинный, средний и маленький. Оборачиваясь к прохожим, словно извиняясь перед ними, начали теснить в проходную арку. Ромка сразу сунул мобильник в карман. Зажал. Длинный молча начал рвать Ромкину руку. С мобильником. Из его кармана. Выдёргивать. Ромка руку не отдавал.

Длинный устал, придвинулся к лицу:

– Ты чё, тормоз, не догоняешь? Деньги давай, мобилу!

Средний и маленький начали пинать Ромку. Подпины-

вать. Молчком. Особенно старался маленький. Рвали из кармана руку. Приняли эстафету от длинного.

Одна рука Ромки зажала в кармане мобильник, другая – закрывала лицо. Его били, кидали как мешок. Ромка летал, но держался, не отдавал. Изловчившись, схватил руку длинного и вцепился зубами. Как бультерьер. Бросив и мобильник, и своё лицо. Длинный заорал, еле вырвал руку. Что есть силы пнул Ромку. В зад. Ромка полетел вперёд, упал, пропахав коленом асфальт. Бандочка, матерясь, пошла. «Жесть», – отставал, удивлённо мотал головой маленький.

Рома лежал, сплёвывал солёную кровь. Начал подниматься. Встал. Было сильно содрано колено. Ближе к краю. И вроде бы надорвали ухо. Потрогал. Точно – кровь. Но ничего не получили гады. Ни мобильник, ни пятнадцать рублей денег.

Прихрамывая, пошёл.

У Сергея Петровича глаза на лоб.

– Кто тебя, Рома!

– Да тут подрался. Недалеко от вашего дома.

– А ну пошли! – Старик уже хватал пиджак.

– Нет смысла, Сергей Петрович. Применил два приёма – разбежались, – покачивался боец в съехавшей бейсболке. На штанине, в районе колена, будто бензиновое пятно.

Сергей Петрович открыл колено – сочная мокнущая рана! Как махровый раскрытый цветок!

Бросился в ванную. В аптечке схватил йод, вату, бинты.

При виде пузырька с йодом мальчишка начал дёргаться на

диване, пытаюсь освободиться от рук старика и куда-нибудь бежать.

– Спокойно, Рома, спокойно! – удерживал ногу Сергей Петрович. – Я только вокруг раны. Не бойся.

Быстро обмотал колено бинтом.

– А теперь к Екатерине Ивановне!

– Зачем, Сергей Петрович? Зачем её пугать?

– Укол от столбняка!

Помог спуститься мальчишке по лестнице. На улице поймал такси и погнал с мальчишкой в поликлинику. На заднем сидении Рома полулежал. Почти поперёк кабины. Трогал ухо. Про которое забыл сказать. Чтобы тоже помазали йодом.

После обеда больные схлынули, и Екатерина Ивановна решила поесть. Доставала из сумки холодец в квадратном пластиковом контейнере, остатки запечённой курицы. Невольно вспоминался вчерашний день рождения Дмитриева.

На «многолюдном» своём юбилее Дмитриев сидел стеснительно, как приглашённый бедный родственник. После дачи с загорелым лицом и лысиной, в белой великоватой рубаше с застёгнутым на верхнюю пуговку воротком походил на сельского старика, присевшего к столу после целого дня тяжёлой работа. Жатвы или косьбы, к примеру. Руки его, как и положено сельскому труженику, были заскорузлы, черны. Когда он взял в них подаренный раскрытый Ромкой планшет –

лицо его засветилось. Много ли человеку надо? Чтобы было внимание близких, их забота. Прямо слёзы наворачивались, глядя на него.

И так было благостно весь вечер. Сельский дедушка за столом и заботливые его доченька и внучек.

Однако к концу ужина, когда уже пили чай, благостный вдруг прервал увлечённо говорящую Городскову: – «Одну минуту, Екатерина Ивановна!» Схватил пульт и прибавил звук в телевизоре.

На политическом ток-шоу, в полукруглом форуме, набитом людьми, сидел и говорил постоянный участник этого представления. Екатерина Ивановна видела его не раз. С непонятной, то ли еврейской, то ли французской, то ли немецкой фамилией. Похожий на Георгия Вицина. Только на Вицина переродившегося, что ли. С усами как махорка. И ставшего злым и ехидным. Когда ведущие давали ему слово, начинал говорить всегда нехотя, вяло, даже равнодушно. Так говорит человек, знающий истину. Но когда его перебивали противники, – начинал кричать. Кричать маленьким хриплым голоском. От злобы – пьянел. Однако отстрелявшись, в паузах сидел подпершись рукой, смяв пальцами губы и махорку. (Этакий мудрец сидит.) Но это не означало, что он не участвовал и дальше в споре – он принимался или резко кивать, как болванчик, соглашаясь со своим единомышленником, говорящим после него, наглядно соглашаться, или отрицательно болтать головой на слова своих врагов. На про-

тивоположной стороне форума ток шоу. Он постоянно играл лицом. Оно было то скептическим, то саркастичным. В такие моменты на него всегда наводили камеру. Это был театр одного актёра. В чистом виде. И, отыграв, опять философски сидит, ухватив свою махорку, по меньшей мере, как отдыхающий в понедельник театр – люди, как вы глупы.

Городскова мало вникала, о чём говорил или кричал этот фантастический человек – её поразил Дмитриев. Подавшись вперёд, он не пропускал ни одного слова говорящего. Он был одной с ним крови. Такой же желчный, ехидный. Не верящий никому. Старика даже не интересовали другие персонажи шоу, которые сразу же начали базлать, перебивая друг друга – он уже никого не слушал. Вздрагивающей рукой он наливал чай в стакан. Потом вскинул глаза – так о чём вы говорили, Екатерина Ивановна?

Рома, как всегда за столом, был отключен. Ничего не видел. Наворачивал себе. Напоследок. На затычку. Вкуснейшее пирожное.

Екатерина Ивановна не раз слышала ехидные слова старика о людях, особенно о людях телевизионных, но то, что он словно бы сравнился с этим маленьким злым поганцем (с этим неисправимым гадёнышем) из ток-шоу, было неприятно. Почему-то задевало. В телевизоре была вершина желчи, злобы и ехидства. И старик словно бы вершины этой тоже достиг.

Дверь внезапно открылась. Дмитриев! Желчный! Лёгкок

на помине!

– Только не пугайтесь, Екатерина Ивановна.

– Что, что случилось?! – вскочила Городскова.

Рома входил как раненый хромающий воин.

– Извини, ба. Подрался. Пришлось применять приёмы.

(Мол, получил боевую травму.)

Сам подхромал к лежаку и сел. Екатерина Ивановна уже осматривала колено. Дмитриев заглядывал с разных сторон.

– Нужно бы укол от столбняка, – советовал. – Екатерина Ивановна. А?

– Не мешайте! – грубо оборвала его Городскова.

Дмитриев согласно кивнул, в сторонку отошёл. Чувствовал свою вину. Не доглядел. Да и специалисту мешать не следует.

При виде приближающегося шприца с длиннющей иглой – Рома побледнел:

– Ну ты, ба, даёшь, – только смог пролепетать.

– Не трусь. Снимай майку.

Послушно снял. Пока мазали плечо спиртом, крепко зажмурился. Приготовился,

Городскова осторожно ввела иглу в плечо мальчишки. Медленно вводила сыворотку. При этом ворчала: «Я будто притягиваю к себе пострадавших близких. Как магнитом. Один с ожогом пришёл, другого с коленом привели. Скоро все перебиваются здесь. Вся родня. Это называется сапожник с сапогами. Прямо хоть профессию меняй. Чтоб не жглись

и колени не били».

– И не больно нисколько! – уже радовался Рома, прижав вату на плече. Даже заглядывая за плечо, чтобы убедиться, что там действительно не больно.

А вот когда обрабатывали рану – дрыгался, капризничал, плакал. Старик солидарно сжимал его руку, стремился принять всю боль на себя.

– Будешь теперь применять свои приёмы, – всё ворчала бабушка, бинтуя. – Пока опять не наваляют.

В дверь заглядывали, требуя внимания.

– Я занята! – зло кричала Городскова, не поворачивая головы.

Про надорванное ухо вспомнили только дома, вечером.

– А укол больше ставить не будешь? – осторожно спросил Рома.

– Нет.

И бабушка налепила только лейкопластырь. Бактерицидный, как она сказала. В зеркале стал на манер жирного цыгана. С золотой серьгой.

2

Дмитриев стоял в актовом зале техникума. Сбоку, в проходе. Полный зал сотрудников и студентов его словно бы не видел. Президиум на сцене тоже кого-то ждал, тихо переговаривался.

– А теперь, – раздалось, наконец, из микрофона со сцены, – слово имеет наш дорогой Сергей Петрович Дмитриев!

Зал взорвался аплодисментами. Однако Дмитриев лихо-радочно думал, что он скажет со сцены. Ходил по проходу и подбирал слова. Так за кулисой ходит, ожидает своего выхода артист. Комик, к примеру. Не видит, не воспринимает обслуживающего персонала. Пожарников, декораторов, рабочих сцены. Вдруг начинает хмуриться и даже капризничать: отстаньте! не мешайте! не трогайте меня! И только после этого с ужимками выбегает под свет юпитеров к аплодисментам глупых зрителей.

Дмитриев так и сделал – взбежал по лесенке к президиуму и вместо пустых слов сразу дал антраша. Если по-русски – дал козла вверх. Одного. Второго. Третьего. Подряд. В воздухе перебирая ножками.

Президиум удивился, а зал снова взорвался. Теперь от смеха. Дмитриев всё прыгал, прыгал, стрекотал ножками. От хохота сотрудников и студентов уже раскачивало, уже стелило. Как во поле спелу рожь от ветра!..

Дмитриев проснулся. Да что же это такое! Второй дурацкий сон о техникуме! Да сколько же можно помнить о нём!

За завтраком в комнате всё обдумывал приснившееся. Тупо смотрел в телевизор. На гигантскую шарообразную эмблему МВФ. Всю облепленную флажками государств. Которая походила на спрессованный разноцветный мусор. На гигантский до неба колобок. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, а от тебя, МВФ, не уйду. Так, что ли? Это же во сне только может такое присниться! И у них всё с ног на голову! И у них уже дрыгают вверху ногами.

Мыл посуду. Зазудел, заползал мобильник на кухонном столе. Рома! «Да, Рома! Доброе утро!» Мальчишка сказал, что сегодня не сможет поехать на дачу. «Мама приезжает, Сергей Петрович. Нужно встретить. С бабушкой на вокзал поедem. Вечером ждём вас. Приходите».

Дмитриев закрыл мобильник. Сразу сжало душу. Вот и закончилось всё. Увезут теперь до января. А там – кто знает?: можно и не дожидаться приезда, не увидеть больше.

Смотрел во двор. Вниз. На предсентябрьскую чахлую берёзу. Которая как старуха растопырилась. Чтобы не упасть.

Всё так же жало душу. Про пресловутые спасительные махи ног – забыл.

Без длинных стружек своих сноха Екатерины Ивановны как-то выцвела, поблекла. Как та же берёза во дворе. С гладкими зачёсанными волосами она казалась Дмитриеву корми-

лицей, повязанной жёлтым платком. Потому что (на удивление!) всё время подкладывала Роме. Как грудь сосунку без меры совала. Даже Екатерина Ивановна сердилась, не узнавала её.

– Что ты делаешь, Ирина?

– Пусть ест, мама, пусть, – смотрела мать на сына, почему-то полнясь слезами: – Вон как похудел.

Ничуть не бывало! Рома после лета на даче стал походить на толстого круглого чёрного жреца африканского вуду. После изматывающего ритуала вновь сейчас насыщающегося за столом и одетого в европейское. В белую майку и шорты.

Но мать словно не видела этого – вилкой, будто вздрагивающей куриной лапой, тыкала какую-то еду в тарелке, не понимая, что ест.

На даче Дмитриева, куда дала себя увезти на другой день, – тоже вела себя странно. Вместо того, чтобы поспешить с сыном на берег и посмотреть, как тот в лапах и с хоботом бороздит речку вдоль и поперёк, она начала рыскать по огороду, рвать недозревшие помидоры и есть их, впиваясь в твёрдую мякоть зубками и морщась от кислоты плодов. Все недовольно ходили за ней, как за дурой-начальницей, словно ждали, чего она ещё выкинет.

Она вдруг побежала к забору:

– Привет, мореплаватель!

Свищёв в тельняшке отпрянул. Попятился, не веря в такую наглость.

Екатерина Ивановна видела, что сноха не в себе, и когда старик и мальчишка – недовольные: некому будет показывать мастерство рыбалки – отправились на неё одни, завела сноху в дом, посадила на стул и прямо спросила:

– Что случилось в Москве? Говори!

Молодая женщина точно этого только и ждала. Как девчонка закрыла ладошками лицо и заплакала:

– Мама! Валерий ушёл из дома!

– Как ушёл? Куда ушёл?

– Две недели живёт у сослуживца. Мама! У Зельдовича!

Городскова потемнела лицом:

– Так это, может, ты виновата?

– В чём?! Мама!

– Ну это тебе лучше знать – в чём.

Когда рыбаки вернулись с рыбой в корзинке, две женщины, отвернувшись друг от дружки, молча быстро собирались. Толкали Ромкины вещи в сумки. Рома еле успел подхватить свой брошенный рюкзак. Спасти от такого варварства.

– Извините, Сергей Петрович, – сказала Городскова. – Нам пора. Поезд. Рома, одевайся.

Дмитриев знал, что поезд поздно вечером, время – море, но пошёл в огород нарвать овощей матери и сыну в дорогу. Помидоров, огурцов, лука, укропа.

В пустом дачном автобусе, в город ехали точно переругавшись. Молодые со стариками. Дмитриев и Екатерина сидели впереди, с сумками на коленях, плечом к плечу. Ирина, как

птенца, прижимала к себе сына позади них. Чересчур упитанный птенец ничего не мог понять, стремился освободиться от крыла мамы-птицы, но та прижимала его ещё сильнее.

– Ну мама! Честное слово! Сиди нормально!

Всегдашний Ромин рюкзак, понятное дело, был набит до неба, поэтому с новой подаренной раритетной книгой от Дмитриева Рома полез в вагон, удерживая её под мышкой. В тамбуре развернулся с рюкзаком и книгой. По направлению к Дмитриеву внизу у вагона:

– По прибытии сразу сообщу. До встречи в январе, Сергей Петрович! – Снова повернул себя. Теперь на 180. И ушел с рюкзаком и книгой в вагон.

Дмитриев, борясь с собой, зло отворачивал лицо, задавливал слёзы.

Что-то пробурчав свекрови, полезла следом за мальчишкой мать, хватаясь худыми руками за поручни. Без пышной стружки Дмитриев по-прежнему не узнавал её змеиной выглаженной головы. Торопливо подавал наверх два небольших чемодана на колёсиках. Женщина пятилась, удёргивала чемоданы в вагон. Дмитриев хотел помочь, «взлететь», но Городскова остановила:

– Уже отправление, Сергей Петрович. Сама управится.

Полезла тучная проводница в обтягивающей юбке. И встала тумбой с флажком, свёрнутым в трубку.

Поезд тронулся и сразу как-то быстро пошёл.

Торопились за ним, махали Роме. Сначала его голове, положенной на руки.. Потом его руке, машущей из вагона.

В автобусе старик смотрел на летящую улицу. Как зверь чувствовал, что мальчишка больше не приедет. Что-то произошло в Москве. А вот что?

Забывшись, повернулся прямо к Городсковой, к её лицу:

– Может, я что-то сделал не так, Екатерина Ивановна? Отчего такое поспешное бегство с моей дачи?

Будто взятая на нож, Городскова заперла дыхании, фальшиво рассмеялась:

– Ну что вы, Сергей Петрович! Просто Ромке нужно в школу. Да и обратные билеты Ирина взяла на сегодня. Чего же тянуть? Долгие проводы – лишние слёзы. – Сама уже отворачивалась от Дмитриева, готовая плакать.

Но старик так просто отстать не мог. Он должен выяснить всё до конца. Ссылаясь на поздний час, набился проводить женщину до дома. А там она вынуждена была пригласить его на чай. Не отвертись теперь! Шалишь!

Поднялись. Открыли дверь. Вошли. Пока старик сидел, как моль слеп от включенного света в большой комнате, Екатерина на кухне быстро готовила чай. Лихорадочно соображала, что можно сказать Дмитриеву и как.

Однако увидев его напряженные глаза, обращенные к ней – сразу наморщилась, некрасиво заплакала. С чайником, с плетёнкой в руках ушла обратно в кухню.

Дмитриев бросился к ней, уже сидящей на табуретке, тро-

гал её голову, затылок в завитках волос, неумело утешал:

– Екатерина Ивановна. Не надо. Успокойтесь. Что случилось? Расскажите лучше всё. (Мол, вам станет легче.)

Как убитую, больную, увёл обратно в комнату и усадил на стул.

Екатерина Ивановна рассказала о перепалке со снохой. Пока рыбаки удили рыбу. Со слов Лисы Патрикеевны, её увидел в ресторане сотрудник Валерия Зельдович. («На корпоративе, мама! Всего лишь на корпоративе!») Увидел и сразу позвонил Валерию. Обманутому мужу. Мол, приезжай и убедись сам. Какие номера тут твоя жена откалывает. Валерка, конечно, никуда не поехал. Переночевал, «на хладной постели, грызя подушку», а утром ушёл из дома, оставив якобы записку, мол, ухожу, прощай, будь счастлива! (Всё это слова плутовки, её версия, которую она вдалбливала свекрови, пока рыбаки махали удилицами.) Ушёл к тому же Зельдовичу. Товарищу по работе. К провокатору, мама. Живущему с матерью. Такому же недотёпе, как Валерка. Теперь – два сапога пара. И мама-еврейка в придачу. Веселое теперь у них время пошло, мама!

Городскова недоумевала:

– ...Я одного не могу понять, Сергей Петрович: она так любит сына и так себя ведёт. Так обращается с Валеркой. Ведь он отец Ромки, её муж! Сергей Петрович!

– Может быть, это всё неправда. Эта измена. Может, действительно, был просто корпоратив, – предполагал, ещё на-

деялся на что-то Дмитриев. Добавил даже уместную сентенцию: – Люди видят то, что хотят видеть, а не то, что перед ними на самом деле. А, Екатерина Ивановна?

Платком Екатерина Ивановна вытерла глаза:

– Нет. Всё правда. И дело тут не в Зельдовиче. Он-то как раз порядочный человек. Мог даже ошибиться. Но я сама всё поняла, когда приезжала за Ромкой. Своими глазами увидела «её ночёвки у мамы». Тогда она это проделывала втихаря. сдерживая себя. А уж без Ромки, видимо, пустилась во все тяжкие. Мне стыдно, Сергей Петрович, но сын мой дурак, олух. Впрочем, тоже знал. И, видимо, знал давно. Только делал вид, что не знает. Однажды вечером, когда она была «у мамы», я увидела его глаза. Глаза загнанного зверька. Загнанного в угол. Который... который только сжался весь, и умрёт, если до него дотронется чья-нибудь рука! Сергей Петрович!

Екатерина Ивановна снова зашмыгала, комкая мокрый платок.

Дмитриев не знал, что сказать. Невольно посматривал на фотографии на стене. Словно искал ответ там, среди них. Но фотографии казались разрозненными, случайными, виделись размыто. Никого, кроме Ромы в центре, не узнавал.

Несколько дней Городскова ходила сама не своя. И на работе, и дома думала об одном: что будет, если действительно разведется. Что будет с ней, с Дмитриевым, с Ромкой. В

том, что мама с дочкой разом отгородят его от отца и уж тем более от неё – бабки, не сомневалась.

Набирала несколько раз Валерия, но всё время – абонент не доступен. Да что он там – похищен, спрятан, что ли?

Набрала Ромку. Спросила, почему не позвонил, не сказал, как доехали. Между делом спросила об отце.

– А он в командировке, ба. То ли в Сыктывкаре, то ли в Салехарде. Он мне позвонил. Но я не понял. Мам, где папа? Скажи поточней. Бабушка спрашивает... В Салехарде, ба. Точно. Скоро приедет.

Так. Понятно. Валерка отправлен Ириной обратно на Север. На родину. Только город она попутала. Надо бы сказать – «в Сургуте». Было бы точней. Теперь наверняка будут оба скрывать от мальчишки всё до последнего.

Через неделю северянин позвонил сам. В восемь вечера.

– Ты где сейчас? – сразу спросила мать, даже не поздоровавшись.

– Как где! – деланно удивился сын. – Дома. Где же мне ещё быть? Играем с Ромой в шахматы. Хочешь с ним поговорить?

Городскова задохнулась на миг и начала кричать:

– Да что же ты делаешь со мной, придурок ты этакий! Ты зачем уходил из дома, зачем? Зачем меня на уши поставил?!
Ответь!

Валерий словно прикрывал разрывающуюся трубку от сына. Мол, зачем так кричать?

– Да говори же!

– Ну я просто пожил немного у Зельдовича. Подумал. Решил вернуться. Ты не расстраивайся, мама, теперь всё в порядке.

Городскова не находила слов. Захлопнула мобильник.

Обидно было до слёз. Хотелось долбить далёкого сына в затылок: смурняк! подкаблучник! молчи! не вякай никогда! молчи, раз такой уродился! во век свой молчи! ради сына молчи! полудурок ты этакий!

Далёкий Валерий Алексеевич Городсков отстранил от уха трубку с короткими гудками. На душе стало нехорошо. Точно эхом долетели последние несказанные матерью слова. Не воспринимал понуканий сына-шахматиста, который требовал ответного хода.

– Ну па-ап, сколько можно пустую трубку держать. Ходи!

– Тебе привет от бабушки, – глянул на вошедшую в комнату жену Городсков, воткнув трубку в гнездо.

– Зачем звонил с домашнего? Дороже стократно, – раскладывала всё для ужина жена: – Что она сказала?..

К удивлению, муж смотрел в глаза её спокойно и даже смело. Как будто знал о ней всё. Или напротив – как будто пришёл и только что с ней познакомился. Совершенно не зная, что ждёт его впереди. Блядь она или ангел.

Ирина суетливо начала переставлять всё на столе. Ожглась об электрочайник, который только что принесла и поставила на подставку. Сунула мизинец в губы. Как леде-

нец. Потом схватилась им и большим пальцем за мочку.

– Чего смотришь? Руки иди мой.

3

Зураб Георгиевич Каладзе, сорокалетний, крепко сбитый грузин, ждал неподалёку от здания «Новослободской», когда появится и пройдет к входу Ирина Городскова. Чтобы с удовлетворением скользнуть за ней следом.

Как всякий уважающий себя кавказский мужчина, Зураб Георгиевич имел усы. Богатые усы. Которые при виде проходящей мимо женщины можно просто дёрнуть. Как чубук. Или, если женщина уж очень хороша, вот, как эта: в летней шляпе, в белых брюках – провести под усом ногтем мизинца. Как острой бритвой. И вдобавок сыграть глазным оркестром многообещающий марш.

Ирина нахмурилась. Зураб не видел её. Зураб пялился на даму в белых брюках, которая тоже шла к входу. На её смачные бёдра. Каких у тонконогой Ирины никогда не было.

Глядя в сторону, Ирина прошла мимо любимого.

В летящем вагоне покачивались в разных концах его. Она сидела рядом со стариком, сложившим руки на костыле, он висел на штанге и смотрел в пролетающую прохладную черноту. На бёдра сидящей под носом дамы в белых брюках – не обращал внимания. Никакого. Демонстративно.

В подъезд вошли по отдельности. Сначала Зураб Георгиевич, через минуту – Ирина.

На четвёртом этаже Зураб долго ковырялся в чужом зам-

ке. Как домушник, после отсидки потерявший квалификацию. Тихо ругался. Квартира была Афиногенова. Товарища. Который три дня назад улетел в Америку. Чёрт бы его побрал! Не мог перед отъездом починить замок!

Ирина поламывала руки, смотрела на стеклянные акульки глаза, торчащие из дверей соседей.

Открыл, наконец, домушник дверь. Мотнул головой: давай, по-быстрому.

Вошли, закрылись.

В квартире пованивало затхлым, холостяцким. Ирина в этой квартире была в первый раз. До этого были другие квартиры. Тоже друзей Зураба.

Не теряя времени, повалились на тахту в полутёмной зашторенной комнате. Время было обеденное. Из одной Организации, из одного офиса этой Организации они «ушли на обед». Конечно, по отдельности. Строжайшая конспирация. У него семья. Жена, двое детей. У неё семья, муж, один ребёнок. Поэтому после всего – верные обеденному рефлексу, почувствовали зверский голод. Полураздетые, стали рыться в чужом холодильнике на кухне. Кое-какая еда от друга осталась: немного докторской колбасы, банка майонеза, какое-то варенье, хлеб. Ирина быстро всё нарезала, разложила на тарелки.

Здесь же, в полутёмной, тоже зашторенной кухне стали быстро насыщаться. Время поджимало. Опаздывать с обеда нельзя. Посмеивались. Он с голой грудью грузина, похожей

на плотный волосяной коврик, она в комбинации с узорами – вроде красивейшего гарнира для полуобнажённой груди.

В ванной пошумели водой. Оделись. Ирина подкрасила губы.

– Ты первая, я после тебя.

Зураб вставил в замок ключ, хотел потихоньку повернуть. Ключ не поворачивался. Ни вправо, ни влево. Засел намертво. А?

Как мыши в мышеловке, начали метаться в прихожей, орать друг на дружку, Забыв про всякую конспирацию. Выбегали на балкон, смотрели вниз с четвертого этажа. Снова убегали в комнату.

Анекдот продолжался. В дом напротив пришёл на обед Аркадий Ильич Зельдович, бледноватый, болезненный еврей с размазанными по темени волосами. Он недавно выписался из больницы, где ему лечили вновь открывшуюся язву желудка и двенадцатиперстной кишки. В столовой министерства, где работал, он обедать пока не мог. Мама не позволяла.

Пока она накрывала на кухне всё диетическое, Аркадий Ильич вышел на балкон. Облокотился на перила, и привычно стал скользить взглядом по двору.

Остановил взгляд.

Из дома напротив, с балкона четвёртого этажа МЧС спускало по выдвинутой лестнице какую-то женщину. В очень заметном, красно-жёлтом мешочном платье, схваченном ре-

зинкой снизу, женщина походила на крупный овощ в руках эмчэсника.

Аркадий Зельдович раскрыл рот, не веря глазам своим – в семнадцатимиллионном городе, с десятками тысяч домов, напротив его, Зельдовича, дома, сейчас спускали по лестнице Городскову Ирину, жену Городскова Валерия. Коллеги по работе. Доброго товарища! Остальные спасатели уже протягивали руки, принимали женщину с задравшимся платьем. А следом по лестнице спускался какой-то крепкий усатый кавказец в майке и светлых штанах. Спускался сам. Без всякой помощи. Спускался быстро, уверенно, как будто всю жизнь только и делал это.

Женщина одёргивала, оправляла платье. Потом поблагодарила спасателя, быстро пошла и свернула за угол дома. Грузина эмчэсники сразу взяли в кольцо, стали требовать что-то. То ли документы, то ли деньги. Мужчина совал и то, и другое. И выхватив, наконец, свой паспорт, тоже пошёл. Так же быстро, как и женщина, но совсем в другую сторону.

Зельдович опустил на табуретку, доставая платок.

Выглянула мама:

– Иди садись. Сегодня твоя любимая творожная запеканка.

Увидела большой автомобиль, выдвинутую из него на дом лестницу, снующих мужчин в чёрной форме. Сбежавшихся ребятишек. Будто загипнотизированных с раскрытыми ртами.

– Что случилось, Аркадий? Пожар? Взрыв бытового газа?

– Нет, мама, – сказал сын. – Просто, видимо, дверь хозяева изнутри открыть не смогли. Замок. Вот и вызвали МЧС.

– Так где же они сами, эти хозяева?

– А убежали уже, мама. Наверное, от стыда, – вполне серьёзно ответил сын.

Странный он какой-то сегодня. Не заболел ли желудок опять?

Теперь на коллегиях Зельдович невольно следил за Городсковым.

В ранге первого референта Зельдович сидел за столом по правую руку министра, Городсков – по левую. И всегда коллега был подтянут, собран. Теперь он сидел с постоянно опущенной головой. Лукомников Фёдор Борисович, перестав говорить, недовольно протягивал руку и шевелил пальцами. Слишком долго ожидая документальной справки от второго референта. Городсков спохватывался, подавал нужную бумагу. Успевал, что называется, подложить её под начальника. И снова грустил, опустив голову. Казалось, не имея никакого отношения к другим головам, за длинным столом дисциплинированно, двумя рядами повернутым к Лукомникову.

Зельдович не рассказал Городскову об увиденном во дворе. Но почему-то стал липнуть к нему. В перерывах подходил и стоял с ним в коридоре. Или, сам не курящий, шёл за ним в курилку. То ли изучал по опущенной, окутанной дымом голове этот в общем-то обыденный феномен под названием «супружеская измена», то ли, на удивление самому себе, хотел взять на себя хотя бы часть страданий несчастного. (Всё время почему-то думалось, что несчастный знает о пожарной лестнице в его, Зельдовича, дворе и о мускулистом гру-

зине.) Старался отвлечь, расспрашивал о диссертации. Или вдруг вспоминал Бауманку, гда они, два смурняка, когда-то откалывали номера. На вечерах, разумеется. На танцах.

Однажды Валерий сказал сам, что у него дома нехорошо. С Ириной. (Дело было всё в той же курилке.)

– Знаешь, Аркаша, после работы домой идти не хочется. Особенно как Ромку увезли на лето. Теперь, наверное, и не дождусь его.

– Ну ты, старик, совсем уж! – возмутился даже Зельдович. Но тут же посоветовал: – Поживи отдельно, Валера. Подумай. Всё взвесь. – Помолчал и закончил не совсем уверенно: – Так всегда делают. В подобных случаях,

Через два дня привез страдальца на такси к себе домой.

– Прошу любить и жаловать, мама! Мой товарищ по работе – Валерий Алексеевич Городсков. Поживёт некоторое время у нас, мама.

Перед пожилой еврейкой стоял унылый малый с погасшим костерком на макушке унылого черепа. На плечах унылого висели две громоздкие сумки, а в руках он держал картонную длинную трубу. Чёрного цвета. Похожую на трубу, из которой швыряют гранату.

Марта Иосифовна определила Унылого спать в комнату к сыну. На раскладушку. Стелила и убирала там за ним.

По вечерам, придя с работы, два друга склонялись над бумагами Унылого и его же чертежами. Вынутыми из чёрной трубы. Из *тубуса*, как вспомнила Марта Иосифовна назва-

ние. Обсуждали их, спорили.

Потом садились ужинать. Накрывала им в большой комнате с включённым телевизором.

Она вязала, а они ели и смотрели новости. Или по Первому, или по РТР. Однажды нарвались на половой акт в каком-то фильме. Нисколько не смутились её, женщины, матери, внимательно смотрели. Идёт экспертиза. На экране вконец изнемогающая телесная борьба. Со стонами и вскриками.

Сын повернулся к другу:

– И, главное, лежат потом всегда как глупые младенцы из роддома. В развязанных пелёнках. Глазами только хлопают и удивляются. Что на свет только что родились.

Эксперты, – смотрела Марта Иосифовна на продолживших есть друзей. Одного (сына) с треском попёрли после месяца совместной жизни с женщиной. Даже несмотря на штамп в паспорте, дающий ему право жить с этой женщиной. Никуда из её квартиры не уходит. Другой – сам удрал. После десяти лет жизни под каблуком. Под тяжёлым каблуком женщины.

Пожилая еврейка смотрела на мечущего её хохлацкие галушки Унылого. Который, пожив у них, превратился даже в Весёлого. Думала о его жене. О которой уже слышала кое-что. Такая на всё способна. Ещё примчится сюда, будет скандалить, крушить мебель, обвинять в пособничестве. Переводила взгляд на жующего сына. На Беспечного. Который даже

не подозревал, какую в дом привёл и поселил опасность.

...Она была в том же самом платье, что и в день, когда её спускали по лестнице с четвёртого этажа. Женщина походила в нём на жёлто-красный большой вздутый перец. На тонких ножках.

Зельдович косился на выходящих из двери министерства людей. Боялся, что и Городсков может оттуда выйти. Тяжёлый разговор с женщиной уже произошёл. Теперь бы только подобру-поздорову убраться.

– ...Не знаю, Ирина, чего вы от меня хотите. Человек обратился ко мне в трудную минуту, я ему помог, приютил на время – и всё. А видел я вас в своём дворе, или не видел – это не имеет никакого значения. Я ему не сказал. Он ничего не знает об этом.

После разоблачений женщина уже пришла в себя. Тоже оглядывалась. Тихим голосом льстила разоблачителю:

– Знаю, Аркадий Ильич, знаю. И я благодарна вам за это. Вы благородный человек. Настоящий мужчина. (Зельдович заслушался, свесил голову.) Но он сам, понимаете, сам увидел меня. (Зельдович вскинул брови.) Не там, не там, не у вас во дворе, не волнуйтесь. На корпоративе! В ресторане «Баку» на Кутузовском!

Зельдович вылупил глаза – однако ты и штука.

– ...Увидел через окно. Как его туда занесло – ума не приложу. Я танцевала там, ну веселилась, ну там было много

разных мужчин – и что? Из-за этого бросать жену, ребёнка, уходить из дому? – Женщина верила во всё, что говорила, верила, готова была плакать!

– Да что же вы от меня-то теперь хотите?!

– Я хочу, чтобы вы повлияли на него. – Женщина снова оглядывалась (она опять в заговоре). – Чтобы он вернулся домой. Скоро я привезу сына нашего Рому – а отца не будет дома. Понимаете? – всё оглядывалась Ирина.

Зельдович молча пошёл от неё. Махал рукой. Будто парализованной рукой. Как отвязывался. И от своей руки, и от женщины.

– ...Как он там? – летело следом. – Как питается? Не похудел ли?..

О, боги!

Верный себе, Зельдович вечером ничего не сказал Городскову о встрече с его женой. О том, что та два дня выслеживала его – и пристала-таки. Как банный лист. К одному месту. На позор перед всем министерством.

А ничего не подозревающий квартирант уже шутил за столом. Видимо, чтобы угодить матери и сыну, рассказал им даже еврейский анекдот. Чем ввёл Марту Иосифовну в большое недоумение. Что это с ним сегодня? – искала она ответ в глазах сына. А сын и сам не знал, чего это друг веселится, когда уместнее было бы ему, наверное, всё время плакать, имея такую жену. Такую б... и хищницу.

– ...А вот ещё, ещё, послушайте! – не унимался весёлый квартирант: – Приходит Зельдович к Фишману и говорит... хихихи, ой не могу!.. сейчас, сейчас, продолжу...

Отца Рома увидел, приехав из школы. Как только свернул в свой двор. Отец рассчитывался с таксистом, увешенный сумками и тубусом. Тубус на груди ему мешал, он его сдвигал, чтобы найти деньги.

Рома побежал.

– Здравствуй, папа! С приездом!

Городсков-старший отдал деньги и надолго прижал сына к себе, откинув чёртов тубус на ремне в сторону.

Рома чувствовал, что отец плачет.

– Ну пап. Что ты?..

– Долго не видел тебя, старина. Прости, – вытирал Городсков глаза.

Пошли, наконец, к подъезду.

– Почему у тебя две сумки, да ещё тубус? – спрашивал мальчишка. Зная, что отец обычно в командировки уезжает налегке. Сам Рома тащил свой неизменный тяжеленный рюкзак.

– Нужно было это всё, старик. Для дела. Необходимо на этот раз, – отвечал отец.

Приложил монету на ключе к монете на цифровой панели двери. Чугунная дверь запикала, открыл её, пропустил сына вперёд.

Двум старухам с лавочки посмотреть – загруженные сверх меры отец и сын приехали домой. По всему видать, откуда-то издалека. Оба в дорожных кепках. Как два баклана. Торопятся. Соскучились по дому.

Глава десятая

1

В последние год-два старик с удивлением стал замечать, что в жизни его наступило время какого-то стремительно-го... застоя. Время летело, недели спадали, как одежда на пол, а ничего не менялось. Подъём около шести. В туалет в конце коридора. Через день-два – там же бритвё. Вместо хорошей утренней зарядки – формальные какие-то махания руками и ногами в комнате, когда думаешь о чём угодно, только не о том, как под чёткий счёт дать себе хорошую зарядку на день. Душ в ванной, где вместо энергичного мытья под контрастными струями – стоишь как согбенная лошадь под бесконечным монотонным дождём. И тоже думаешь неизвестно о чём.

Приготовил и за завтрак сел – всё то же самое. Из утра в утро. Или кашка манная, или перловая. Чай в том же стакане, того же цвета, с одной и той же ложкой сахара. Которой забывчиво мешаешь несколько минут, как дурак.

Сядешь к тетрадам с лекциями, включишь компьютер – и опять всё идёт как будто во сне. Стремительно и, в то же время, бесконечно. Что-то там выписываешь, куда-то вносишь. Возвращаешься к предыдущему. Зацикливаешься на

нём. Сидишь в ступоре. С оловянными глазами.

Вставал из-за стола, ходил, Но думал где-то рядом с собой. Словно совсем другой человек. Потом, как вспомнив, очнувшись – смотрел на часы. Полдвенадцатого! Чёрт возьми! Куда столько времени улетело? Невероятно. И всё вокруг то же самое. Как всегда. И невозможно никуда из всего этого вырваться.

Даже на прогулках – шастал по одним и тем же местам. Никуда в сторону. Ни на какие новые улицы. Парк, потом мимо школы с ребячьими воплями на стадионе. Мимо поликлиники с Екатериной. Потом выходил на свою улицу, прямо к дому. И снова перед дверью на третьем этаже. Достает ключи. Нагулялся. Опять пришёл в свой стремительный застой.

Вечером сидел как каменный перед телевизором. Думал опять словно бы рядом. Ужинал часов в девять. Снова плялил в мелькания на экране. «Стоять! Лежать! Руки назад!» Глаза слипались. Наконец, выключал всё. Ложился. День пропал, растворился. Вроде путника на дороге. Неизвестно когда и как. Вот только что был – и нету.

Иногда с утра вспоминал – пора в магазин за продуктами, Холодильник заметно опустел. Или нужно съездить на дачу. Или пенсию из банкомата выдернуть. Но магазины были одни и те же, – только два или три, неподалёку, и банкомат один, на Ленина, а о даче и говорить нечего.

Такое вязкое и бегущее время особенно ощущалось по-

сле отъездов Ромы в Москву – с мальчишкой всё шло как-то медленней, осмысленней. За что-то можно было зацепиться. Но мальчишка уезжал – и снова одна и та же чередка ненужных стариковских дел. Опять застойная летящая пустота.

В конце сентября Городскова подвигла поехать на дачу. «Закатать на зиму банки». Её выражение. Не хотел, но поехал. Сам после смерти жены ничего не солил, не «закатывал». Большой погреб под домом был пуст, только в огороженном углу хранилась теперь картошка. Хотя когда-то все полки здесь заставлены были стеклянными банками. Жена Надя умела и любила солить. Да и варений всяких тут стояло достаточно.

Прежде всего залез на чердак, искал банки. Аккуратно сложенные одна на другую, прикрытые мешковиной – нашёл их в углу, под самым скатом крыши. В банках скопилась пыль, тенёта. По ним дотошный археолог мог бы определить возраст этой закладки – не менее тридцати лет.

На огороде под наблюдением женщины и, конечно, Свищёва (из-за забора) – мыл банки. Сперва из шланга внутрь давал, затем полоскал в бочке и снова сильной водой из шланга.

Банки в большом тазу нёс словно блестящие чистые караты невероятных размеров. Женщина с двумя большими банками сопровождала. Свищев с повернутой головой тоже шёл. Падал за забором, исчезал и снова шёл.

В кухне всё уже было приготовлено Екатериной Иванов-

ной. И помидоры, и огурцы тщательно отобраны и помыты. На столе лежали пучки укропа, смородинового листа, очищенный, белейший, как новорожденный, чеснок. А в чане на плите парила горячая вода.

Екатерина Ивановна принялась за дело. Закладывала приготовленные овощи в банки. Командовала старику: подать то, убрать это. Старик метался, исполнял. И даже учился, заглядывал с разных сторон.

В награду доверила ему закатывать крышки ключом. Озабоченно уже прикидывала, как вывозить всё это тяжёлое закатанное стекло. Каким транспортом.

– Почему у вас нет машины, Сергей Петрович? Или, может быть – была?

– Нет, Катя. Никогда не было. Никогда не тянуло рулить. Гордо откинувшись на сиденьи. Ещё жена с тёщей наседали, чтобы купил, чтобы учился, получил права. Но нет – отбил-ся. Так и таскал всё с дачи в рюкзаках да сумках.

Странно, смотрела женщина на старика, который довольно ловко орудовал закаточным ключом. Вроде бы к технике человек имел отношение. Окончил технический вуз. Преподавал. И как-то избежал мужского поветрия – иметь свой автомобиль. Не самоутвердился в этом.

Спускали банки в погреб. Екатерина подавала, Дмитриев принимал и сразу расставлял по полкам. Городскова невольно оценивала освещённый просторный погреб. Больше похожий на капитальный бункер от бомбёжки. Всё в нём было

сделано и установлено по уму. И яркая лампа в проволочной сетке на стене, и резиновый кабель к ней, и стеллажи с полками, и огороженный закуток на бетонном полу, только на треть засыпанный сухой картошкой.

– Кто вам делал погреб. Сергей Петрович? Нанимали?

– Да нет. Всё сам. И копал. И бетонировал потом. Ну освещение, проводка капитальная. Все стеллажи, полки.

Екатерина Ивановна покачивала головой. Опять казалось странным, что такой рукастый – старик никогда не имел своей машины. Главное – не стремился её иметь.

К обеду всё закончили. Поели, закрыли дачу и отправились домой, помахав прибежавшему к забору Свищёву, проворонившему их уход.

Для себя и Екатерины старик тащил банки в двух холщёвых сумках. (Рюкзак за плечами – не в счёт.) По мостку через Волчанку шёл сосредоточенно, мелким шажочком. Как силовой жонглёр и канатоходец в одном лице. Казалось, сейчас успокоится чуть, соберётся и начнёт кидать сумки вверх. Жонглировать над несущейся речкой. Почему не сменят этот опасный, старый мосток, невольно думала Екатерина, хватаясь за перила.

Лямки у холщёвых сумок были излишне длинными, банки висели у самой земли, и Городскова опасалась, что, поднимаясь в подъезде по лестнице, старик зацепит стеклом о какую-нибудь ступень. Хотела сказать ему об этом, но тот

– сам не дурак – взял ляжки на кулаки и планомерно стал восходить к квартире Екатерины на четвёртом этаже. Городскова суетливо карабкалась за прямой спиной с рюкзаком, не уставая удивляться силе и выносливости старика. Железный. А ведь семьдесят пять лет!

Но железный дышал перед дверью в блеклом дерматине вроде ишака с раздувающимися боками, который рвёт в себя воздух и качается от явного перегруза. Быстренько открыла дверь, пропустила вперёд.

После того, как разложили и расставили всё привезённое в кухне, пили чай в комнате. Телевизор работал. Без телевизора нельзя. Когда не о чём говорить – главный собеседник.

На сцене, впереди рояля неумоимо дергала смычком виолончелистка. Чем-то напоминая паучиху, дергающую и дергающую свою паутину.

Екатерине Ивановне казалось, что старик не слушает музыки, а только смотрит на физические действия расшиперившейся музыкантши.

Опустив глаза, он неожиданно спросил про Ирину. Вернулся ли в семью Валерий Алексеевич.

– Почему-то вы мне ничего не говорите об этом, Екатерина Ивановна, – всё не поднимал глаз старик.

– А чего тут говорить, Сергей Петрович! Всё вышло курам на смех. Пожил пару недель у товарища и пришёл, как побитый пёс, домой. Слабый у меня сын, Сергей Петрович, слабый.

Старик слышал в голосе женщины досаду, но сам был рад. Значит, Рому теперь уж точно привезут. Зимой, на каникулы. Примирительно сказал:

– Зря вы обижаетесь на Валерия Алексеевича. Он просто очень любит сына, и поступил, на мой взгляд, правильно. Вернулся.

– Да он не может себя поставить в семье! – сразу взнялась Екатерина Ивановна. – Во всём пасует перед этой... этой (оба ждали площадного слова)... трепушкой. Как же жить с ней такой! Ведь дальше будет ещё хуже!

Вдруг стала объяснять старику, полностью противореча себе:

– Я ему всегда говорила, всегда: смирись, молчи, не рыпайся, раз такой слабый, а он чего выкинул – ушёл из дома. А если бы Ромка узнал?

– Как так! – удивился старик. – Рома разве не знал?

– Нет. Не знал и не знает. Комедию оба устроили для него. Якобы Валерий уехал в командировку. Она его туда отправила. На Север. В Салехард. Почти в родной Сургут. В общем, дома он теперь. Вернулся из Салехарда. Как ни в чём не бывало. Как будто ничего и не было.

Дмитриев хмурился. Старался не смотреть на фотографии на стене. На фотопортрет мужчины с высокой лысиной и испуганными глазами. Словно чувствовал себя виноватым, что тот таким уродился.

Молча оделся в прихожей, накинул на плечо пустой рюк-

зак, сказал «до свидания» и вышел.

Спускался по лестнице, сжимал в руках свёрнутые холщевые мешки. Забыв даже захватить в них для себя пару банок.

2

Однако эпопея с банками на этом не закончилась. Перед ноябрьскими, четвёртого числа поехал на дачу опять за соленьями. Может быть, придётся отметить праздник, пригласить Екатерину. В прошлый раз не взял домой ни одной банки, – после разговора об отце и матери Ромы забыл.

Снег в городе ещё не лёг, выпадал и сразу растаивал. Но сегодня было по-зимнему холодно, лужи везде замёрзшие, солнце дымилось в нагромождениях серых облаков, похожих на развалины.

Оделся легко, но надёжно: в тонкий шерстяной свитер и байковую куртку. Кальсоны под камуфляжными штанами, шерстяные носки, кеды. И на лысину наладил осеннюю кепку. Плечо не давил полупустой рюкзак, в котором были только некоторые мелкие вещи для дачи да один свёрнутый надёжный холщёвый мешок. Для двух-трёх банок.

Успел подбежать и сразу сесть в дачный автобус. У окна привычно, бездумно смотрел на пролетающий город.

От остановки стал спускаться к дачному посёлку. К быстрой незамерзающей Волчанке, уже взятой белымиakraинами.

На мосток с берега забиралась грузная женщина в сером пальто с корзинкой на руке. Поправила на голове тёплый платок, вновь подхватила корзинку и осторожно пошла по

трём доскам, хватаясь одной рукой за перила. Наверняка шиповник собирала вдоль речки. Самый последний. Прихваченный морозцем, самый вкусный, медовый. Нужно бы тоже сходить, немного набрать.

Вдруг увидел тяжёлое плывущее бревно. Приближающееся к мосткам. Бревно ударило в одну из стоек мостка, начало разворачиваться поперёк речушки. Раздался треск. Женщина схватилась обеими руками за перила. Попыталась идти дальше, но поздно – с двумя провалившимися досками полетела вниз. Полетела как-то боком. Как большая серая рыба. Плюхнулась и сразу ушла под воду.

Вскочила на ноги и закричала:

– Ой, мамоньки! Тону!

Воды ей было под грудь, но течение толкало, норвило опрокинуть, потащить.

Дмитриев побежал, бросив за собой рюкзак. Не раздумывая прыгнул к ней с обломков мостка. Она сразу безумно охватила его обеими руками как друга долгожданного, и вместе с ней он ушел под воду.

Оба вскочили. Женщина опять начала хвататься, словно хотела его непременно утопить.

– Да мать твою! – боролся Дмитриев. Смял, наконец, её руки, потащил к берегу. К дачному берегу.

Проваливаясь, круша лёд закраины, выволок тяжёлое бабье тело на берег. Поставил на ноги. Дальше повел. Подальше от воды, ото льда.

Стояли и смотрели друг на дружку как два монстра с длинными руками, истекающими водой. На Дмитриеве не было кепки, на женщине – платка. «Ой! – оцупала голову женщина. – Мой платок! Моя корзинка! Ой, мамоньки!» Пенсионерка с мокрыми волосёнками уже поворачивалась к речке, словно готова была ринуться назад, плыть, искать платок и свою чёртову корзинку. «Ой, мамоньки! Ой!»

Дмитриев спросил, где она живёт, где её дача.

– Там, – махнула женщина рукой в противоположную от дачи Дмитриева сторону. – На четвёртой улице. К сестре вчера приехала. Корзинка пропала её! Мой платок! Ой, мамоньки!

Дмитриев хотел довести её до дома, до сестры. Но женщина отвела его руки и сама полезла в горку, всё причитая «ой, мамоньки! ой, корзинка! ой платок!» Да что же ты жадная-то такая, а? – хотелось крикнуть в старающуюся широкую спину с выглядывающими мокрыми чулками и панталонами. – Ведь чуть не утонула вместе с ними, дура!

Дмитриев попытался отжать на себе воду из куртки и штанов. Бросил. Выбрался на бугор, потрусил к своей даче. Нужно поскорей вскипятить чай, согреться. И вспомнил: на даче нет газа. Пустую ёмкость в последний приезд увёз в город. Для заправки. И не заправил. Вообще о ней забыл. Чёрт!

Сунулся к Свищёву – дверь в железной опояске с пудовым замчиной. Как на сельском магазине. В город продавец уехал.

Даже не зайдя к себе, Дмитриев побежал к капитальному мосту через Волчанку метрах в ста вниз по течению.

По мосту и за мостом бежал трусцой. Вдоль дороги. Необычный, весь мокрый спортсмен за городом на тренировке. Редкие дачные машины обгоняли спортсмена. Подмывало поднять руку, проголосовать, но было стыдно. Да и не пустят такого мокрого и страшного в сухую машину.

Поравнявшийся мерседес притормозил сам. Поехал рядом.

– Что с вами случилось? – слышалось из открывшегося окна.

Дмитриев бежал с голой головой. Махнул рукой. Мол, ерунда, пустое. Не обращайтесь внимания.

Но мерседес остановился, и от него уже бежал человек. Приобнял и повел к машине. Как сам Дмитриев недавно. Когда выводил женщину подальше на берег.

– Я весь мокрый. Всё испорчу, – упрямылся старик уже со вставленной в кабину ногой. Словно пойманный и арестованный, которого суют внутрь кабины, схватив сверху за башку, чтобы, не дай бог, не самоубился до следствия и суда.

– Ничего, ничего, – поощрял хозяин мерседеса, мужчина лет сорока в длинном черном пальто, явно не дачник. – Садитесь скорей, простудитесь!

Старик влез. В тёплой машине от прилипшей к сиденью спины и ног сразу ощутил ледяной холод. Как будто вновь сиганул в холодную воду.

Мощный автомобиль плавно полетел. Резал дорогу будто масло.

Водитель поглядывал на лысого, явно потерявшего кепку старика, нахохлившегося в мокрой насквозь одежде.

– Так что же с вами случилось, отец? Рыбачили? Перевернулись с лодкой?

Дмитриев коротко рассказал о случившемся.

– Да, история, – посмотрел на старика мужчина. Удивляясь то ли истории, то ли его поступку. Спohватившись, выдернул из внутреннего кармана пальто плоскую фляжку: – Выпейте. Вам просто необходимо сейчас.

Дмитриев отвинтил, послушно запрокинулся. Горло ожгло. Коньяк. Крепкий однако.

– Ещё, ещё. Пейте!

Ну что ж, раз дают, можно и ещё. Опять запрокинулся. Наморщился, завинчивая пробку. Протянул плоский походный сосуд:

– Большое спасибо.

Мужчина домчал до дома за десять минут. Высаживал прямо у подъезда. Как барина. Под ручку. Хотел ему заплатить. Полез за деньгами. Мокрыми.

– Вот. Только такие.

– Не обижайте меня, отец, Давайте-ка я лучше вам помогу в подъезде.

Дмитриева снова подхватили и повели. Старик опять послушно шёл, глотал слёзы. Но возле подъездной двери хва-

тило ума остановиться.

– Спасибо вам, спасибо! Как вас зовут? – Высокий голос Дмитриева дрожал, срывался.

– Андреем меня зовут, – сказал мужчина. Видя, что старик отворачивается, явно плачет, успокаивал: – Ну что вы, отец, успокойтесь. Сейчас сразу в горячую ванну, потом крепкий чай. С хлебом с маслом. С мёдом. Есть у вас это всё? – Старик не в силах говорить – кивал. Как маленький. – Ну вот и хорошо. Здоровья вам, отец! – Мужчина уходил: – Всего вам доброго! – По-женски подцепил свои чёрные половики, занырнул в кабину. Круто развернулся и сразу погнал.

По лестнице старик торопился, дрожал от озноба, но на душе было тепло. Оказывается, не все сейчас мерзавцы бездушные.

Быстро раздевался в прихожей, сдирал с себя всё. Голый, на цыпочках, по ледяному линолеуму протрусил в ванную. Разом сильно вывернул и горячую и холодную. Ждал. Нужного уровня воды. Залез, наконец, погрузился в горячее тепло. Сразу по всей голове и лицу выступила испарина. Закрыв глаза, лежал, пошевеливал руками. Видел себя и женщину на берегу. Себя дурака-спасателя и спасённую. Которая только ойкала и стремилась обратно в реку за своим дурацким платком и корзиной. Простоволосая, в мокром сером своём пальто, как в прелых шкурах. Когда снова бежал мимо разрушенного мостка, нужно было тоже ринуться в речку и гре-

сти за своим рюкзаком. Который так и валялся на насыпи. А то ведь теперь можно сдохнуть от досады и жадности. Как тётка сейчас, наверное, сдыхает. Вместе с сестрой. А может, всё это от шока у неё было. Вся эта «жадность».

Быстро, жестко растирался полотенцем.

В махровом халате, в кухне потом наливался чаем. С малиной и мёдом. И масла на хлеб не жалел. Поднялся, наконец, из-за стола. Весь горячий внутри. Как выдохнувший всю простуду. Ну, кажется, пронесло.

Ночью чувствовал жар, но не мог проснуться.

Нужно было посидеть дома день-другой, прогреться как следует, полечиться народными средствами, теми же мёдом, малиной, но – нет. Утром попёрся платить коммунальные и в ТСЖ. Ещё таскался по городу, заходил в магазины, покупал продукты. Уже всю кашлял, поднимаясь домой по лестнице. Бухал. Останавливался – и будто в гулкую большую трубу вниз подъезда давал. Дышал после кашля как дырявый баян. Похоже, – зацепило. Не помог ни коньяк доброго человека, ни горячая ванна, ни мёд, ни малиновое варенье с горячим чаем на ночь. Дальше поднимался. До следующего приступа кашля.

После обеда смерил температуру. 38 и 5. А что будет вечером, ночью? С градусником в руке повернулся к зеркалу шифоньера. Видел в нём какой-то белый безжизненный корнеплод. Типа кормовой свёклы. С красно-синими щеками.

Опять попался! И ведь года не проходит. Полгода! Ниче-

го никогда не пристаёт. Только простуды. Побыл три минуты в воде – и пожалуйста. Герой-задохлик. Спрыгнувший с мостка.

С такой температурой можно было вызвать врача. Или самому, в конце концов, пойти в поликлинику. Но всё тянул, надеялся на что-то.

Два раза пил капли от кашля. Однако кашлять стал ещё чаще. Зло выкидывал из себя приступы кашля. Сгибался, никак выкинуть не мог.

Снова смерил температуру. Часов в шесть вечера. 39 и 3. Дождлся!

Теперь что – в «скорую» звонить?

Поколебавшись, стал набирать номер Екатерины.

Слушал длинные гудки. Казавшиеся бесконечными. Опять видел в зеркале корнеплод с вертикальными страдательными бровками.

В тот день Екатерина Ивановна вышла из дому на работу как обычно, в половине восьмого. Ползущее небо было дымным, сажным. По улицам носило дождь со снегом. Порывы ветра зонт стремились вывернуть наизнанку. Поворачивалась спиной, принимала ветер на себя. Снова поворачивала зонт навстречу дождю и снегу.

Возле школы зонт пришлось сложить. Кыскнула Феликса. Стала доставать из сумки еду. Сегодня баловню одна сосиска и один вареник, облитый сметаной.

Выкладывала всё в железную плоскую банку из-под селедки, продолжая кыскать.

Кот не выбегал. Странно.

Пошла вдоль стены, вдоль окон.

Мокрый Феликс плоско лежал с вылезшими зубами. На голове в короткой шерсти – сукровичный цветок.

Екатерина Ивановна качнулась, закрыла глаза, Постояла, приходя в себя. За холку подняла убитого, быстро пошла в школу. За два угла. К главному входу.

По коридору школы несла кота, отбиваясь от охранника. Читала таблички на классах. С левой стороны. Окнами к стадиону.

КАБИНЕТ БИОЛОГИИ. Здесь! Распахнула дверь, ворвалась. Кинула убитого кота на стол. Прямо к вскочившей пол-

ной даме. К главному специалисту по животным.

– Живодёры! Шкуру забыли содрать!

Оттолкнула охранника, пошла из класса. На пороге повернулась и что есть силы саданула дверь. Разом оттринула и описавшуюся учительницу, и охранника, и весь класс, будто разинувший единый рот.

Шла к поликлинике. Не чувствовала ветра, секущего дождя. Про сжатый в руке зонт забыла.

Готовя всё к процедурам, ничего не могла понять на белом столе. Путала ампулы, шприцы, не могла разложить как надо.. Рукавом халата смахивала слёзы, снова всё пихала, перекидывала. Нос её будто напитался кровью.

В дверь заглядывали больные. Законно ждущие укола или капельницы.

Вечером, не переодевшись в домашнее, лежала на диване. Лежала на боку, поджав ноги в чулках, закрыв локтем голову. Мокрый зонт валялся тут же в комнате. Прямо на полу. Как убитый летучий мыш.

Зазвонил мобильник. Из прихожей. Из кармана висящей кофты. Поднялась, пошла. Открыла крышку. Дмитриев!

– Да-да, Сергей Петрович!

Старик слышался словно с края земли, кашлял, говорил прерывисто:

– Екатерина Ивановна, кажется заболел, опять простудился.

Вот уж правда – беда никогда одна не приходит.

– Сергей Петрович, сейчас приеду. Пейте пока горячее.

Укутайте грудь. Горло. Я – скоро.

Быстро начала одеваться.

Был уже девятый час, но всё равно побежала в поликлинику.

На крыльце долго ругалась со сторожем за стеклом дверей. Недовольным татарским бабаем в русской душегрейке:

– Да работаю я здесь! (Старый ты хрыч!) Медсестрой! Позвоните Ольге Герхардовне! Пациенту плохо!

Недовольный бабай уходил к телефону, возвращался, спрашивал, как фамилия, зачем пришла. Снова уходил. Наконец открыл. И был чуть не опрокинут ворвавшейся русской бабой.

Быстро набирала в процедурной ампул и шприцов. Завернула всё в белый халат, сунула в сумку.

Опять чуть не сбила бабая на выходе.

– Ненормальный какой! – отскочил бабай.

Другой бабай, на третьем этаже открывший дверь, пятился.

– Извините, Екатерина Ивановна, вот – опять, – развёл руки, представляя себя сегодняшнего. В полосатой пижаме, краснощёкого, с белой лысиной и замотанным горлом.

Когда готовила и ставила уколы, старик кашлял почти не переставая. Лежа на боку с обнажённой жёсткой своей ляжкой – от кашля подкидывался. Нужно было пережить при-

ступ, чтобы успеть ввести лекарство до следующего.

Поставив три укола, Городскова безоговорочно начала набирать «скорую».

– Может, не надо, обойдётся всё, – ещё надеялся старик. – А, Екатерина Ивановна?

– Нет, нет обойдётся, Сергей Петрович. У вас пневмония. И, похоже, крупозная. Платок от слюней и мокроты весь коричневый.

Старик испуганно посмотрел на платок в кулаке. Действительно – в коричневых пятнах.

Диспетчеру «скорой» излагала всё чётко. Высокая температура, сильный кашель, фамилию-имя-отчество заболевшего, возраст, домашний адрес. Третий этаж. Дверь в подъезд без замка.

– Ну, Сергей Петрович, давайте потихоньку одеваться.

В спальне старик с тёплым бельём руках брыкался, не хотел никакой помощи.

– Да я же медсестра, черт побери!

– Я сам, я сам, – закрывался старик, как подросток.

Пришлось отступить, выйти из спальни.

Городскова собирала всё своё, ворчала. Говорила кому-то постороннему: «Опять, наверное, налегке бегал в парке. Где же ещё можно так простудиться. Только в парке любимом».

– Нет, не в парке. – каялся простуженный. – Спрыгнул с мостка, Екатерина Ивановна. В Волчанку.

Городскова онемела, не веря. Тогда старик, кашляя, рас-

сказал, как всё было.

Екатерина не успела ничего переварить – раздался звонок: «скорая»!

Ввалили трое с медицинскими баулами и в белых халатах из-под тёплых курток.

Довольно молодой свежий врач в халате, с шапкой на голове задрал бязевую нижнюю рубашку старика и приложил холодную бляху фонендоскопа к согнутой спине:

– Дышите.

Старик тут же зашёлся в бешеном пароксизмальном кашле.

– Что кололи? – спросил врач, увидев разорванные обёртки и пустые шприцы.

Городскова сказала. Врач с интересом посмотрел на неё:

– Вы врач? Коллега?

– Я медсестра. Из второй поликлиники.

– Ну что ж, всё сделали правильно. Пневмония. Крупозная. Одевайте отца, спускайте вниз.

У Дмитриева уже ничего не спрашивали. Дмитриева, как ребёнка, быстро одевали. И Екатерина, и сестра «скорой».

В узике приобняла его, удерживала, опять взявшегося кашлять. Под зимним толстым пальто его как будто кто-то бил в барабан.

В приёмном покое Первой городской – снова переодевались. В спортивном шерстяном костюме на длинной молнии, теплых носках и тапочках повезли сидящим на каталке по

длинному коридору. Старик испуганно крутил головой, подкашливая больше по обязанности. Подпрыгнувшего на порожке, завезли в широкий лифт, с лязгом захлопнули железную дверь. Старик исчез.

Его одежду, завернутую в его же пальто, Екатерина повезла к себе домой. В автобусе с узлом на коленях не видела в окне пролетающих ройных огней на домах, а видела Дмитриева, спасающего женщину. Как он бесстрашно прыгнул к ней с мостка, схватил, не дал унести течению. Тащил потом, боролся с водой, и вытащил женщину на берег. Как та, наверное, обнимала его, плакала, а он только отворачивался, не в силах говорить.

. Бедный старик. Только притворяющийся жестким и циничным. Но почему он не поспешил вместе со спасённой на её дачу? Чтобы там отогреться, переодеться во что-нибудь, обсохнуть. Почему стал бегать возле своей дачи? Раз там не было газа.

Отказался. Стеснительный, скромный. Бедный старик.

Два дня Дмитриев пролежал в коридоре отделения. На кровати вдоль стены. Ногами к голове другой лежащей женщины. Не из Волчанки. В первую ночь женщина два раза падала с кровати, (Да что за напасть: одна в Волчанку, другая – на пол!) Пост медсестер на стоны не откликался. Спал. Старику пришлось оба раза вставать и помогать толстой женщине лечь обратно в постель. Каждый раз удивляясь, как может столь много теста свалиться с кровати.

Днём оба лежали, удерживая стойки капельниц. С висящими флаконами. Боялись, что зацепят, опрокинут.

Городскова и просила, и ругалась. Наконец сегодня Дмитриева перевели в палату. В палату, как сказали, четыре.

Среди других семи обитателей увидела его на кровати в углу. Будто отгороженного от всех. И Дмитриев, точно намолчавшись там, сразу начал прерывисто говорить, едва только присела к нему:

– Бездарно прошла жизнь моя, Катя. После гибели сына и смерти жены ничего, кроме работы, не видел. Не завёл ни друзей, ни даже подруги. Представь, Катя, как забавно было сидеть в день рождения одному. В обнимку с чекушкой и рюмкой. Одному, как говорят, задувать свечи. Забавно прошла жизнь моя.

За эти два дня высокую температуру ему сбили, так толь-

ко – 37 и 2, 37 и 5, кашель тоже заметно убавился, но лицо изнутри оставалось больным, красным сквозь серость, как плавка. Он задыхался, сильно потел. Екатерина Ивановна вытирала ему полотенцем шею, лицо. Он отстранял её руки и дальше торопился, говорил что попало, лишь бы говорить. Похоже, быстрым говорком он сбивал кашель. Одышку:

– Ты сказала, трепушка она, проститутка. Шалишь! Сейчас проститутки зовутся путанами. Трепачи теперь бойфрендами. А мерзкие педерасты и вовсе – очень гордо звучат – геи. А ты говоришь, просто трепушка. Шалишь! Пута-на она теперь, путана!

Рядом с Дмитриевым лежал молодой и, казалось, совершенно здоровый парень, который, как и положено молодому и здоровому, всё время уходил куда-то из палаты и возвращался. У него был точно такой же синий спортивный костюм на длинной молнии, как и у Дмитриева.

– Вот вам яблоко, отец, – говорил он и клал в тарелку на тумбочке наливное блестящее яблоко. – Я его помыл.

Вместо бормочущего, будто бредящего старика, благодарила Екатерина. С края заправленной кровати парня она кормила больного. Старик не хотел есть с ложечки, всё время садился, чтобы схватить ложку и самому есть, но начинал сразу кашлять. Снова падал на подушку, обречённо скоши-вал рот к ложке.

– Странно, Катя: лежу, почти не кашляю, сел или встал – сразу начинаю бұхать. Странно.

В глазах его бегало недоумение. А Екатерина, забывая про свои слёзы на щеках, половчее старалась всунуть ложку под скошенную губу. Вот так!

В воскресенье отделение с утра набилось родными больными. И в коридоре, и в палатах – везде стояли или сидели у кроватей сострадающие. В белых халатах или в легких синих пелеринках, выданных внизу.

Сегодня дежурил сам Завьялов, заведующий отделением. Крупный мужчина в белой шапочке, с лицом, похожим на генеральское седло из толстой гладкой кожи. В коридоре он недовольно говорил настырной, каждый день надоедающей женщине. Вроде бы медсестре из второй поликлиники:

– Обуздайте, наконец, своего отца! (В отделении почему-то считали, что Дмитриев отец Екатерины.) Его опять видели в ванной комнате. Опять он мылся под душем. Он что, дурак, ненормальный? С таким трудом привели его к какой-то стабильности, и что теперь нам ожидать от него. Всё – с начала?

Городскова извинялась. Говорила, что «обуздает». Будьте уверены, Геннадий Иванович!

В палате выговаривала больному. Почище Завьялова:

– Вы что, на тот свет захотели? Вам же нельзя, понимаете, нельзя сейчас мыться! Ни голову, ни тем более тело. Почему вы упрямый такой? Я же приношу, каждый день приношу вам бельё на сменку. И сейчас принесла! Вы же переодеваетесь каждый день. Чего вам ещё надо?

Дмитриев, как нашкодивший кот, уводил глаза. Хотел сказать, что свежее бельё потному грязному телу не товарищ. Вонять тело будет так же стойко, как вся палата номер четыре. Но каялся: он больше не будет.

Екатерина начала выкладывать на тумбочку принесённую еду. И горячее в судке, и для чая всё.

Поев сам, набравшись сил, Дмитриев застегнул молнию на олимпийке и стал подниматься, чтобы немного походить.

– Вам рано ещё лишний раз вставать. Сергей Петрович!

– Движение – это жизнь, Екатерина Ивановна, – с большим оптимизмом говорил старик.

Пришлось сопровождать в коридоре. По выбитому старому больничному линолеуму старик ступал уверенно. И кашлял мало.

Сели на обшарпанный больничный диванчик неподалёку от лифта. На муниципальную больничную нищету. Старик спросил про Рому. Как он там? Как учится? Что нового у него в плане шахмат?

– Почему вы не взяли с собой мобильник, Сергей Петрович? – вопросом на вопрос ответила Екатерина. – Чтобы самому звонить ему?

– Я думаю, Катя, ему не надо сейчас говорить, что я заболел. Вот как поправлюсь немного, перестану кашлять – можно попробовать тогда. Позвонить.

У Городской перехватило дыхание. Стала отворачиваться.

– Что с вами, Катя?

Женщина повернулась к нему. И вдруг со слезами начала качать головой:

– А вы знаете, Сергей Петрович, что Валерий ваш внук, а Ромка – правнук? А? Знаете? – Всё качала головой, как будто пеняла старику: – Знаете?

Старик то ли не поверил, то ли не мог осмыслить услышанного.

Сказал, наконец:

– Не переживай, Катя. Я давно понял это.

– Как давно! Когда?

– Когда увидел фотографию Валерия. У тебя на стене. Когда узнал в нём своего Алёшку. Да и себя самого.

– Да что же вы молчали?

– Не посмел, Катя. Слишком много времени прошло.

Старик, словно боясь, что его сейчас стукнут по голове, торопливо добавил:

– Я уже и завещание написал.

– Какое завещание?

– На квартиру свою. Правда, не на Валерия, а на Рому.

Городскова вскочила, стала ходить взад-вперед, не в силах вместить всё в голову.

– Зачем, Сергей Петрович?! Это же плохая примета!

– Предрассудки, Катя. Я ещё поживу. Ещё половлю с Ромой рыбу.

Как в бабьем плохом романе, Екатерина села, обняла ста-

рика и заплакала.

Потом, споря, обсуждали, стоит ли сейчас говорить всем – и Валерию, и Ромке, и Ирине – о внезапном превращении Дмитриева в деда и прадеда. Старик сомневался, надо ли Катя. Не испортит ли это всё?

– Надо, Сергей Петрович. Теперь непременно надо сказать. Вот как поправитесь, так сразу и раскроем им карты.

Простились у лифта. На правах невестки Городскова поцеловала старика в щёку. Раскрасневшийся Дмитриев бодро пошёл к своей палате. Екатерина захлопнула железную дверь грузового лифта, поехала вниз, чтобы выйти через приёмный покой, через который за эти дни наострилась проходить к больному. В любое время дня. И даже вечера.

На другой день, в обед, как всегда, пришла с горячим.

– А ваш отец в реанимации, – сразу чуть ли не хором поведали ей в палате. – Вчера вечером ему сделалось плохо, и сразу увезли. На пятый этаж. В реанимацию.

Больше всех говорил молодой парень в костюме-олимпийке, как у Дмитриева. Кивнул на аккуратно заправленную постель Дмитриева. Мол, смотрите, его здесь нет.

Побежала в ординаторскую.

Завьялова не было, но врач Галямова всё подтвердила. Действительно старику стало резко плохо, начал задыхаться, терять сознание. Быстро подняли на пятый. В реанимацию.

Татарские раскосые, как лодки, глаза смотрели с тревогой на растерянную женщину.

Вошёл Завьялов. Большое лицо его было озабочено.

– Уже знаете. Делают всё необходимое. Я узнавал час назад. Пока улучшения нет. Старик без сознания, но организм борется. Будем надеяться.

Екатерина Ивановна хотела уточнить, узнать подробности, но Завьялов, не давая говорить, – говорил сам и одновременно писал: «Вот телефоны ординаторской и поста в коридоре. Вам тут делать нечего. Звоните в любое время в течение дня, конечно, узнавайте. До свидания».

После работы пришла домой – разбитая. Как будто мешки целый день таскала.

Стряхнув изморозь, кинула в комнату на диван легкую, как пух, песцовую шапку. Сев, стала снимать обувь. С сапогом в руке замерла. Как и Дмитриев недавно, повернулась к зеркалу на стене. На неё смотрела женщина с обескровленным белым лбом, будто с белым обручем. Волосы взняты, схвачены вверху резинкой. Баба-яга сидит. Старуха. Пока ещё не больная. Одно только отличие от Дмитриева. Вздохнув, двинулась в комнату

На следующий день с утра позвонила. В трубке слышался голос Завьялова, говорящего с кем-то. Перевёл голос в трубку – да! слушаю!

– Здравствуйте, Геннадий Иванович, как состояние Дмитриева? Из четвёртой?

Завьялов медлил отвечать. Городскова напряглась.

– А вы знаете, ничего. Явная положительная динамика.

Пришёл в себя, разговаривает. Крепкий старик. Видимо, завтра или послезавтра переведём в палату.

– Спасибо вам! Спасибо большое, Геннадий Иванович!

Городскова чуть не плакала.

Вечером позвонил Рома.

– Я набирал сегодня Сергея Петровича. Он почему-то не отвечает. Он где: дома, на даче?

– Телефон, может быть, разрядился. Я завтра, наверное, увижу его, скажу, и он обязательно тебе позвонит. А теперь рассказывай давай, как у вас дома. Как папа, как мама?

Как всегда прошла через приёмный покой, разделась в раздевалке и поднялась на четвёртый этаж.

В ординаторской – никого. Видимо, все на обеде. В столовой.

Пошла в палату. Может быть, уже перевели.

Когда вошла, все в четвёртой палате сразу начали отворачиваться. Углубляться в свои дела. В еду. В болезни.

Постель Сергея Петровича собирала пожилая санитарка. Одеяло, две простыни толкала в серый большой мешок. Сдирала с подушки наволочку. Другая санитарка, помоложе, выгребала всё из тумбочки. Стеклянные банки из-под еды. Кульки с печеньем, железную миску с ложкой, вилок.

Старая скатала матрас, обнажив железную сетку. С мешком, с матрасом под мышкой пошла к двери.

Все по-прежнему не поворачивались. Только парень в

олимпийке крутил головой, испуганно смотрел то на оголённую кровать, то на женщину. То на кровать, то на женщину.

Екатерина попятилась, вышла.

В коридоре опустилась на диван. Обеими руками схватилась за край его. Сидела, раскачивалась. Сразу закапали слёзы. С плачущей виноватой улыбкой не могла найти платок.

В кармане кофты зазвонил мобильник. Машинально открыла, поднесла.

– Ба, ты где? Почему не отвечаешь?

Женщина отстраняла мобильник, мотала головой, словно проваливалась под землю, в ад, давилась слезами.

– Ба, ты слышишь?..